

вич иронически называл посеребренным) действительно сверкнуло нечто, словами необъяснимое. За это можно ручаться человеческой честностью Блока. А для Адамовича именно одухотворенность была оправданием поэзии и мерилom эстетических ценностей. Блок для него - "гений интонации". [...] "Стихами Блока я бредил, сходил от них с ума", - вспоминал Адамович годы своей юности⁴. [...]

Парижская поэзия (а "нота" в особенности) имела петербургские корни. Для Адамовича, прожившего в Петербурге двадцать лет, сложившегося там как личность и как поэт, Петербург - город особенный.

*Тысяча пройдет, не повторится,
Не вернется это никогда.
На земле была одна столица,
Все другие - просто города.*

"Словно солнце мы похоронили в нем", по незабываемой строчке Осипа Мандельштама. Не камни, конечно, во всяком случае, не только камни, а петербургский особый жизненный стиль, каким он сложился к началу двадцатого века в загадочном, смутном и все же несомненном предчувствии того, что вскоре должно было случиться... Некоторым бывшим петербуржцам чудится еще и до сих пор отблеск "какого-то чудного пламени, над ними мерцавшего"⁵.

Верный последователь "ноты" Анатолий Штейгер принадлежал к "незамеченному поколению" - поколению детей эмиграции, выросших на чужбине. Встречаясь с Адамовичем, он без конца расспрашивал о литературной жизни в Петербурге, представлявшимся ему утраченным Эдемом. Штейгер сформировался под прямым воздействием Адамовича, в беседах с ним, на его статьях и следовал канонам парижской ноты, тщательнее, чем сам ее основатель. Слова Адамовича о том, чем не должны быть

стихи, и что тематически должны быть о самом важном (о жизни, смерти, о Боге и любви), а формально обходиться лишь минимумом приемов, - имели в лице Штейгера благодарного слушателя.

К последователям "ноты" относят и Лидию Червинскую, ровесницу Штейгера. Был еще один поэт - поздний последователь - Игорь Чиннов, также принадлежавший поколению родившихся в первое десятилетие XX века. Его случай особенный. "Нота" прозвучала во всеуслышанье в тридцатые годы, в пору литературного расцвета эмиграции. Чиннов же по-настоящему проявился как поэт в послевоенные годы, хотя печатался еще в "Числах", журнале молодых, основанном в 1930-ом и выходившем до середины 1934-го.

Близко стоял к "ноте" Перикл Ставров (1895-1955). Был он, как Адамович и Штейгер, зачарован поэзией Анненского. Но полностью и безраздельно поэтом "ноты" не стал. Из находившихся в ее орбите, он ближе других стоял к ее ядру. Что, собственно, его отделяло? По мнению Адамовича, "неотчетливость", хотя некоторая внутренняя неопределенность и очевидная недоговоренность предполагалась канонами "ноты". В тридцатые годы "самый произвольный приговор Адамовича принимался его многочисленными адептами и поклонниками слепо, как закон", - вспоминал, слегка утрируя, Г. Иванов⁶.

Это влияние наметилось с середины двадцатых годов, когда стали публиковаться в парижском "Звене" за подписью Адамовича еженедельные "Литературные беседы". "Звено" устраивало вечера, на них встречались и знаменитости, и литературная молодежь. Адамович выступал со своими докладами, блистал в беседах, в которых обсуждались доклады участников. В начале 1927 г. была основана "Зеленая лампа", литературное общество, служившее "инкубатором идей", - один из самых оживленных интеллектуальных центров не только в эмиграции, но и вообще в истории русской культуры. Адамович читал свои стихи на поэтических вечерах, неизменно участвовал в обсуждении докладов, сам выступил с докладами: "Есть ли цель у поэзии?", "Судьба Александра Блока", "Конец литературы".

К 1928 г. сложилась особая общность русских литераторов, которую позднее мемуаристы назвали "блистательным Монпарнасом". В круг общения входили многие, независимо от формальной принадлежности - будь то Союз молодых поэтов, группа "Перекресток" или левое объединение "Кочевье". "Создался особый климат духовный - многие участники монпарнаских собраний ему обязаны"⁷. Это был период подъема молодой литературы. На Монпарнасе Адамович стал притягательным центром. По словам современника, здесь в четверговые и субботние вечера в беседах, в спорах кристаллизовалось мироощущение, которое Борис Поплавский назвал парижской нотой. В этой атмосфере возникли "Числа" - журнал, оставшийся более всех других, кроме "Современных записок", памятником эпохи. Новое издание открывалось вступительным словом, полностью созвучным поэтам "ноты": "У бездомных, у лишенных веры отцов или поколебленных в этой вере, у всех, кто не хочет принять современной жизни, как она дается извне, обостряется желание знать самое простое и главное: цель жизни, смысл смерти. "Числам" хотелось бы говорить главным образом об этом... Жизнь без своего загадочного и темного фона лишилась бы своей глубины..."

В "Числах" сформулировано мироощущение, которое было распространено среди молодого поколения эмиграции. Опубликованные в журнале "Комментарии" Г. Адамовича привлекли читательское внимание и вызвали отклики в печати. В этих "Комментариях", впоследствии вошедших как первые главы в его одноименную итоговую книгу, Адамович осмысливает состояние души русского человека на Западе. Парижскую ноту своим именем он еще не называет, но речь идет именно о ней. [...] За всю историю страны, - говорит Адамович, - русский человек никогда в таком одиночестве не оставался.

[...]Здесь же, в "Числах", появилось знаменитое определение поэзии, данное Адамовичем: "Какие должны быть стихи? Чтобы, как аэроплан, тянулись, тянулись по земле и вдруг взлетали... если и не высоко, то со всей тяжестью груза. Чтобы все было понятно, и только в щели смысла врывался пронизывающий трансцендентальный ветерок. Чтобы каждое слово значило то, что значит, а все вместе слегка двоилось. Чтобы

2
9
Дне
в
этом
Фан
Томодович
нашпи
выбодич

входило, как игла, и не видно было раны. Чтобы нечего было добавить, некуда было уйти, чтобы "ах!", чтобы "зачем ты меня оставил?", и вообще, чтобы человек как будто пил горький, черный, ледяной напиток, "последний ключ", от которого он уже не оторвется. Грусть мира поручена стихам"⁸.

Эти строки написаны в 1930 году. Тогда Адамович был уверен, что "нота" удастся, что за ней будущее. Думал он над ней всю сознательную жизнь. В книге "Комментарии" (1967), подводящей итоги всего его духовного опыта, говорится, что "нота" не удалась, что "жизнь помешала" выразить ее на должной высоте, с надлежавшей силой. На относительные достижения он не соглашался: все или ничего, поэзия должна быть "чудотворным делом, как мечта должна стать правдой", или поэзия невозможна. При таком максимализме "нота", конечно, была обречена.

Но от нее остались хорошие поэты, их книги, стихи в журналах. В строгом смысле слова наследие парижской ноты - десять сборников стихов. Вот их хронология: "Эта жизнь" (1931) Анатолия Штейгера; через три года - "Приближения" Лидии Червинской; затем опять Штейгер - "Неблагодарность" (1936); в следующем году выходят "Рассветы" Червинской и совсем накануне войны, в 1939 г. - сборник Адамовича "На Западе". Книжки, вышедшие в послевоенное время: посмертное издание стихов Штейгера "Дважды два четыре" (1950); первая книга Игоря Чиннова "Монолог" (1950), "Двенадцать месяцев" (1956) Червинской; в 1960 г. - сборник Чиннова "Линии"; в 1967 г. вышел итоговый поэтический сборник Адамовича "Единство", включивший все лучшее написанное им за полвека.

Эти книги выражают "ноту" в беспримесном виде. Но было еще много стихотворений поэтов первой эмиграции, чье творчество не укладывалось в рамки "ноты", хотя отдельные их стихотворения вполне согласуются с ее заветами. Такие стихи мы найдем у последователя Анненского Перикла Ставрова; у более мажорного и акмеистического Юрия Терапиано; у Аглаиды Шиманской, начавшей печататься в 1947 г.; у Бориса Заковича, впервые выступившего в печати в 1930 г., но издавшего свой единственный сборник в 1984-ом, когда поэту было 77 лет.

Можно найти стихи, близкие к "ноте", у погибшего в немецком концлагере Юрия Мандельштама, у Анатолия Величковского, Довида Кнута... Но продолжая перечислять имена, легко размыть границы, даже те, не всегда отчетливые, какими они по существу и были. Большинство молодых поэтов русской Франции усвоило не только урок, преподанный Адамовичем, но и поэзию Г. Иванова тридцатых годов. И в том, и в другом источнике это поколение поэтов находило дневниковость, исповедальность, установку на простоту, скупость словаря, темы безжалостности мира, бесприютности, обреченности на поражение в жизненной борьбе. И в том, и в другом источнике поэты находили мотив жалости, романтизм, скептицизм. Появлялись стихи, однотонно окрашенные. "Такого робкого и почтительного ученичества русская поэзия еще не видела", - писал непримиримый критик "общепарижского поэтического стиля" Альфред Бем⁹. Но и сам Адамович понимал это и писал саркастически: "Немного иронии, немного грусти, недомолвки, намеки, остановки, именно там, где ждешь развития темы: рецепт знаком". Авторы таких "рецептурных" стихов Адамович называл "мнимыми адептами ноты".

[...] Эпоха оказалась богатой талантами, хотя этого еще не достаточно, чтобы какое-то отдельное десятилетие назвать эпохой в историко-культурном смысле. Но тридцатые годы сложились именно как эпоха: помимо обилия талантов, была еще создана атмосфера, которая резко отличает это десятилетие от предшествующего и последующего. В подобном же смысле мы привыкли слышать о серебряном веке как об отдельной эпохе в истории русской культуры. [...] Серебряный век при всей его экспансии вширь, и вглубь, и ввысь, при всех достижениях в философии, богословии, публицистике, живописи, театре был прежде всего временем расцвета поэзии. Масштабы тридцатых эмигрантских годов несоизмеримы с эпохой Блока, Анненского, Гумилева, Мандельштама. Но парижский период тоже был многосторонним, ищущим, своеобразным и в том оркестре поэзия тоже играла первую скрипку.

Трещина в душах "незамеченного поколения" явилась лейтмотивом поэзии. Старая Россия была разрушена, родина стала недоступной,

Наш парижский
И шлоца ми
Чем греть, ямав
Ужмав
Без сил,
Без
К Тарже...
Чем греть, ямав
Ужмав
Без сил,
Без
К Тарже...
Чем греть, ямав
Ужмав
Без сил,
Без
К Тарже...
Чем греть, ямав
Ужмав
Без сил,
Без
К Тарже...

Запад к судьбам эмиграции остался безучастным. При этом существовало сознание, что русское культурное наследие в его порыве к правде было честнейшим при любом сравнении. Разлад с окружающей жизнью, "отравленность пережитым" лежали в основе нового мироощущения. Исторические условия диктовали новый подход к творчеству, отрешенность от всего несущественного. Поэтому Адамович и писал, что главное в поэзии - "ощущение суеты сует", с которой следует размежеваться. Отсюда трезвость, ясность, искренность как требования к поэзии. Адамович не выдумал этого настроения, он только пошел дальше в направлении к "абсолютной поэзии" - к миражу, который ему мерещился годами. Об этом его стихи:

*Сквозь отступленья, повторенья,
Без красок и почти без слов,
Одно, единое виденье,
Как месяц из-за облаков,*

*То промелькнет, то исчезает,
То затуманится слегка,
И тихим светом озаряет,
И непреложно примиряет
С беспомощностью языка.*

[...] Второй поэт парижской ноты - Анатолий Штейгер (1907-1944). Он был младше Адамовича на пятнадцать лет. Фактически Адамович и пробудил в нем художественную самостоятельность. Штейгер начинал с подражаний Георгию Иванову, причем не эмигрантским его стихам, а старым, петербургским. В общении с Адамовичем он обрел свой собственный тихий, но отчетливый голос и создал свой мир в поэзии. [...] Жизненный путь Штейгера короток, он умер в пушкинском возрасте. Вехи его жизни - аристократическое происхождение, детство в усадьбе на Украине, поездки в Петербург. В 1919 г. родители с 12-летним Анатолием и

м. червинская - 1988 г.
 Поэзия - жизнь - счастье.
 От бесприютности, от безразличия
 России - долой.
 Станет в утробу России - долой.
 -15-

его младшей сестрой, будущей поэтессой Аллой Головиной, бежали из Одессы в Константинополь. В годы учебы в Чехословакии заболел туберкулезом. Лет с 17 полностью посвящает себя поэзии. Встречи с Адамовичем в Ницце, переписка с Цветаевой, многочисленные путешествия по Европе с длительными остановками в Париже. Прижизненное признание читателя и критики. И посмертный итоговый сборник, который он подготовил, живя в годы войны в Швейцарии.

[...] Большинство его стихотворений - лирические миниатюры, иногда только в пять строк. Ничего в них громкого, не слышно несдер-

жанной взволнованности. Ничего слишком яркого: если дом - то заброшенный, если пруд - то старый, ответ на вопрос - "неясный". Оттенки настроений многообразны, но эпитеты без оттенков. [...]

В правдивых, сдержанных стихах Штейгера чувствуется боль, нежность и жалость. Мера, которой следует мерить эту жизнь, не от мира сего. Таково по смыслу самое известное его стихотворение:

*У нас не спросят: вы грешили?
 Нас спросят лишь: любили ль вы?
 Не поднимая головы,
 Мы скажем горько: Да, увы,
 Любили... как еще любили!..*

Лидия Червинская (1907-1988) покинула Россию в 13-летнем возрасте. С родителями попала в 1920 г. в Константинополь, через два года переехала в Париж. Печаталась в лучших довоенных изданиях. Уже после выхода ее первого сборника "Приближения" (1934) была признана одним из видных поэтов своего поколения. Во время войны жила в Провансе. В 1956 г. вышел ее последний сборник "Двенадцать месяцев". Название дано по строке Осипа Мандельштама "Двенадцать месяцев поют о смертном часе..." и могло бы стать эпиграфом ко всей лирике Червинской. В большинстве ее стихотворений угадывается двойной фон: трудная горькая любовь и "про-

зрачно-великий" Париж, даже если он не назван, а лишь мелькает "за кисеей занавески, в окне". Предметный, зримый мир едва-едва намечен. Почти все происходит в душе поэтессы, это чистая интроспекция.

*В жизни моей, ни на что не похожей,
 Только свобода и боль.*

Ее сборник "Приближения" вышел в период, который переживался, как самый "эмигрантский". Незадолго до того еще теплилась надежда на возвращение в Россию, а к началу тридцатых надежды не было и в помине. Все знали, что доживать предстоит на чужой стороне, вернуться не суждено. В "Приближениях" главной темой взято "то, от чего в этой жизни не будет удач...". Адамович воспринял эту, по его словам, тонкую и умную книгу как сборник стихов, лучше других выражающий психологическое состояние эмигранта. Речь шла о парижской эмигрантской молодежи, чьи настроения Адамович описал в отклике на стихи Червинской: "Полночь, кафе... Сидит несколько молодых людей, несколько женщин, на которых с удивлением смотрят "гарсоны", насколько они не похожи на бойких французов, щебечущих рядом. Разговор не всегда клеится. Разговор довольно часто "съеден иронией", как выразился кто-то. А потом вдруг возникает, расширяется, углубляется. Обычные темы всех полнотных разговоров: человек, Бог, литература, поэзия, долг... затем коммунизм, Пруст, Блок, любовь, смерть. Лучше слушать не самые слова, а голоса, тон, внутренний напев речей: особенность только в этом. Трудно представить себе что-либо более безнадежно-восторженное, отрешенное, сожженное, добровольно-жертвенное, чем эти признания, со смешками, когда ирония, все-таки берет верх. Трудно представить себе что-либо грустнее..".

Эти ночные разговоры отразились в лирике Червинской многократно. Из тех монпарнасских разговоров пришли в ее "Рассветы" (вторую книгу) обрывки услышанного: "От безразличия и бескорыстья такая утомленность и досада", "От бесприютности, от безразличия тянет в чужую Россию - домой", "Быт углубленной нищеты", "Совесть - что это такое? Только память о вине", "Мы не искали ни в чем совершенства, жили на грани тоски и блаженства", "Все-таки

душа согрета болью о самой себе". И отголоски парижской ноты Адамовича:

*А слова всегда неповторимы,
 И всегда печально не о том.*

[...]Червинская любила парадоксы и оксюмороны. Афоризмы встречаются во всех ее книгах, и все они исполнены горечи: "Где вера есть - она слепа", "И лишь сомненье может убедить", "Есть только ряд случайностей - и рок". "Каждая удача одинока", "Мы не заметили начала, не будем подводить итог". Ее искусство серьезно, тональность сурова, игры в ее творчестве мало, а то и вовсе нет. "Червинская была более других послушна мэтру Адамовичу, - писал Юрий Иваск. - Пессимизм для нее тот хороший тон, который всегда нужно соблюдать... но слышится напев, есть упоение в лучших стихах... порыв, снимающий пессимизм"¹⁰.

[...]Парижская нота - одна из тех страниц поэзии, которую пропустить невозможно. Что же касается литературы эмиграции, то в ней "нота" - не просто страничка, а целая глава, притом из самых концептуальных. Представление, что "нота" существовала только в тридцатые годы - ошибочное. Ее жизнь не была краткосрочной, она длилась с различными модуляциями едва ли не столетия, но наиболее плодотворными оказались предвоенное и послевоенное десятилетия.[...]

О парижской ноте писали по-разному - то противоречиво, то с пониманием, то полемически, и все же выпало из поля зрения нечто существенное, что сказал о ней ее основатель. Георгий Адамович возвращался к теме "ноты" в своих эссе, газетных статьях, в письмах, в стихах. Но ключ к ней он дал в заключении своей главной книги: "Обрывая эти свои заметки - в которых осталось столько недоговоренного! - в виде лучшего к ним комментария, в виде ключа к ним и даже оправдания, не могу удержаться, чтобы... не привести короткое стихотворение - шесть строк Баратынского:

*Царь небес! Успокой
 Дух болезненный мой,
 Заблуждений земли
 Мне забвенью пошли,*

И на строгий твой рай
Силы сердцу подай.

Обычно о стихах, которые очень нравятся, говорят: "удивительно", "изумительно". Ничего "изумительного" в этих стихах нет! Но мало найдется во всей русской литературе стихов чище, тверже, драгоценнее, свободнее от поэтического жульничества: это именно возвращение на алтарь того, что человек получил свыше, ясное отражение "образа и подобия". Ни иронии, ни слез, ни картинно-живописной мишуры: никаких симптомов разжижения воли. Экономия средств, то есть начало и конец мастерства, доведена до предела..."¹¹

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Г. Адамович. *Одиночество и свобода*. М., "Республика", 1996, С. 221.

2. Г. Адамович. *Комментарии - в кн. Одиночество и свобода*. М., "Республика", 1996, С. 191.

3. Г. Адамович. *Комментарии - в кн. Одиночество и свобода*, С. 190.

4. Там же, С. 205.

5. Там же, С. 102-103.

6. Г. Иванов. *Третий Рим. Художественная проза, статьи. Изд. "Эрмитаж" (США)*, 1987, С. 302.

7. Ю. Терапиано. *Встречи. Нью-Йорк, изд. им. Чехова*, 1953, С. 98.

8. Г. Адамович. *Комментарии - в кн. "Одиночество и свобода"*. М., "Республика", 1996, С. 163.

9. А. Бем. *Письма о литературе*. Прага, 1996, С. 253.

10. Ю. Иваск. *Похвала российской поэзии - "Новый Журнал"*, 1986, 162, С. 126.

11. Г. Адамович. *Комментарии - в кн. "Одиночество и свобода"*, М., "Республика", 1996, С. 241.

Георгий АДАМОВИЧ
(1892 - 1972)

* * *

Ни с кем не говори. Не пей вина.
Оставь свой дом. Оставь жену и брата.
Оставь людей. Твоя душа должна
Почувствовать - к былому нет
возврата.

Былое надо разлюбить. Потом
Настанет время разлюбить природу,
И быть все безразличней, - день за днем,
Неделю за неделей, год от году.

И медленно умрут твои мечты.
И будет тьма кругом. И в жизни новой
Отчетливо тогда увидишь ты
Крест деревянный и венок терновый.

* * *

Без отдыха дни и недели,
Недели и дни без труда.
На синее небо глядели,
Влюблялись... И то не всегда.

И только. Но брезжил над нами
Какой-то божественный свет,
Какое-то легкое пламя,
Которому имени нет.

* * *

... может быть залог.
ПУШКИН

"О, если правда, что в ночи..."
Не правда. Не читай, не надо.
Все лучше: жалобы твои,
Слез ежедневные ручьи,
Чем эта лживая услада.

Но если... о, тогда молчи!
Еще не время, рано, рано.
Как голос из-за океана,
Как зов, как молния в ночи,
Как в подземелье свет свечи,
Как избавление от бреда,
Как истязанье... видит Бог,
Он сам всего сказать не мог,
Он сам в сомненьях изнемог...
Тогда бессмер... молчи!.. победа,
Ну, как там у него? "Залог".

* * *

За все, за все спасибо. За войну,
За революцию и за изгнание.
За равнодушно-светлую страну,
Где мы теперь "влачим существование".
Нет доли сладостней - все потерять.
Нет радостней судьбы - скитальцем
стать,

И никогда ты к небу не был ближе,
Чем здесь, устав скучать,
Устав дышать,
Без сил, без денег,
Без любви,
В Париже...

* * *

Ничего не забываю,
Ничего не предаю...
Тень несозданных созданий
По наследию храню.

Как иголкой в сердце снова
Голос вещей услышать,
С полувзгляда, с полуслова
Друга в недруге узнать,

Будто там, за далью дымной,
Сорок, тридцать, - сколько? - лет
Длится тот же слабый, зимний
Фиолетовый рассвет,

И как прежде, с прежней силой,
В той же звонкой тишине
Возникает призрак милый
На эмалевой стене.

* * *

Из голубого океана,
Которого на свете нет,
Из-за глубокого тумана
Обманчиво-глубокий свет.

Из голубого океана,
Из голубого корабля,
Из голубого обещанья,
Из голубого... la-la-la...

Голубизна, исчезновение
И невозможный смысл вещей,
Которые приносят в пенью
Всю глубь бессмыслицы своей.

ВСПОМИНАЯ АКМЕИЗМ

После того, как были ясными
И обманулись... дрожь и тьма.
Пора проститься с днями красными,
Друзья расчета и ума.

Прядь вьется тускло-серебристая
(Как детям в школе: жить - бороться).
Прохладный вечер, небо чистое,
В прозрачном небе птица вьется.

Да, оправдались все сомнения.
Мир непонятен, пуст, убог.
Есть опьяняющее пение,
Но петь и верить я не мог...

* * *

Ночь... в первый раз сказал же
кто-то - ночь!
Ночь, камень, снег... как первобытный
гений.

Тебе, последыш, это уж невмочь.
Ты раб картинности и украшений.

Найти слова, которых в мире нет,
Быть безразличным к образу и краске,
Чтоб вспыхнул белый, безначальный
свет,

А не фонарик на грошовом масле...

а к
в мире и
мал миги все
осекою или не и
знее и уценней, -
е вноминаем ре
наем Тебя как

Анатолий ШТЕЙГЕР (1907 - 1944)

* * *

Отчего, как стихает речь
И на улице, и в дому,
Стоит только скорее лечь
Помолясь, обо всех - Ему,

Стоит только, глаза закрыв,
Позабыть, что с утра вело, -
Чтобы в черный дневной прорыв
Голубое влилось тепло.

И настал тот блаженный час
В позабытом уже краю,
Словно в небе опять нашлась
Та звезда, что вела в раю.

Не бывало еще отца,
У которого гнев - навек...
От шипов Твоего венца
Отдыхает во сне человек.

* * *

Об этом мире слишком много лгут,
Об этой жизни ходит много басен,
Но все же этот мир - прекрасен,
И этой жизнью все-таки живут...

Пройдут года и, заглушая вздох,
Раздастся вдруг невольное признание: -
О, этот бедный мир совсем не плох!
О, эта жизнь совсем не наказанье!

* * *

*Только утро любви не забудь.
И.АННЕНСКИЙ*

Только утро любви не забудь.
Только утро - как нищая в храме,
Мы, внезапно схватившись за грудь,
Ничего не увидим за нами.

Будет серая тьма жестока,
И никто нам уже не поможет,
Лишь прохожий, что два медяка
На глаза, а не в чашку положит.

* * *

Сколько лет безнадежно убито,
Но о прошлом больше не жалею.
Голубое небо приоткрыто
Изумрудной россыпи полей.

Стану снова радостным и новым,
Перейду зеленую межу.
Никого на свете честным словом
Я теперь напрасно не свяжу.

Каждый нынче весел и свободен,
Каждый в теплом ветре обновлен.
В эту землю, в этот Дом Господень,
Я опять без памяти влюблен.

* * *

Только след утихающей боли...
С каждым валом - слабей валы.
Легкий сумрак. В осеннем поле
Тянут медленный плуг волю.

Между небом и между нами
Заполняется мглой провал.
Мы во всем виноваты сами,
Ты у нас ничего не брал.

Тишина... Тишина такая,
Тишина на земле и в нас,
Словно в мире совсем иная
И хорошая жизнь велась.

Словно осенью мы не те же,
А серьезнее и грустней, -
О себе вспоминаем реже,
Вспоминаем Тебя ясней...

* * *

Ты осудишь. Мы не виноваты.
Мы боролись и не шли к греху.
Запах поля. Запах дикой мяты
У Тебя не слышен наверху.

Все у нас печально и убого:
В переулке низкие дома,
Меж полей размытая дорога,
За плечами нищая сума.

Так стоишь часами за деревней,
День прошел - как не бывало дня...
Этот мир, заброшенный и древний,
Веселее не был до меня.

Да и завтра веселее тоже
Он стоять не будет у дверей.
Мы несчастны. Очень. Боже, Боже,
Отчего Ты с нами не добрей...

Le Vesinet 1932

* * *

"Попрыгунья стрекоза
Лето красное пропела".
...Опускаются глаза.
Тихо катится слеза
По щеке, по загорелой.

Сердце попусту боролось -
Наступил последний срок.
Ждать, чтоб все переменялось,
Не по силам. Сорван голос.
Ты забывчив и далек.

Осень стала у ворот,
Листья мертвые в подоле.
Кое-кто ей подает...
(Никогда он не поймет
Этой нежности и боли).

Видно, песенка допета
Вся до самого конца.
Не вернется больше лето...
Неумьга-неодета
Осень стала у крыльца.

* * *

Так от века уже повелось,
Чтоб одни притворялись и глали,
А другие им лгать помогали,
(Беспощадно все видя насквозь) -
И все вместе любовью звалось...

Rome 1934

* * *

Нам в этом мире все давно чужо.
Мы чьи-то жмем бессмысленные руки,
Мы говорим, смеемся. Сколько лжи
И сколько в этом настоящей муки.

Но если раз, единый только раз
Мы наяву Тебя случайно встретим -
Толпа сомкнется и разделит нас...

Давно пора бы примириться с этим.

* * *

Настанет срок (не сразу, не сейчас,
Не завтра, не на будущей неделе),
Но он, увя, настанет этот час, -
И ты вдруг сядешь ночью на постели
И правду всю увидишь без прикрас
И жизнь - какой она на самом деле...

Berlin 1935

* * *

Время искусный врач,
Лечит от всех неудач,
Лечит от всех забот.

Скоро и глупый плач
Ночью (во сне) пройдет.

РАСПИСАНИЕ

Надо составить опять расписание -
В восемь вставание, в девять гуляние.
После прогулки - работа. Обед.

Надо отметить графу для прихода,
Рядом оставить графу для расхода
И для погоды - какая погода.

За неимением занятия лучшего,
Можно составить на двадцать лет.
Вечером чтение вечерних газет.

И не читать, разумеется, Тютчева.
Только газеты... И плакать - запрет.

Париж 1937

* * *

Бедность легко узнают по заплатке.
Годы - по губ опустившейся складке.
Горе?

Но здесь начинаются прятки -
Эта любимая взрослых игра.
- "Все, разумеется, в полном порядке".
У собеседника - с плеч гора.

* * *

Неужели навеки врозь?
Сердце знает, что да, навеки.
Видит все. До конца. Насквозь...

Но не каждый ведь скажет - "Брось,
Не надейся" - слепцу, калеке...

1936

Лидия ЧЕРВИНСКАЯ (1907 - 1988)

* * *

Только с Вами. Только шепотом,
В удивленной тишине,
Поделюсь неполным опытом,
Памятным, понятным мне.

Гордым опытом бездомности,
Стыдным опытом любви,
Восхищенною нескромностью
И смирением в крови.

И в светлеющей огромности
Лета в городе пустом,
две дороги - в смерть и в дом.

Холодно. Тоска бездетная
Вновь протягивает руку,
Под октябрьским под дождем...
А цыганская рассветная
Предвещает ту разлуку,
Для которой все живем.

* * *

Все помню - без воспоминаний,
И в этом счастье пустоты,
Март осторожный, грустный, ранний,
Меня поддерживаешь ты.

Я не люблю. Но отчего же
Так бьется сердце, не любя?
Читаю тихо, про себя:
"Онегин, я тогда моложе,
Я лучше, кажется..."

Едва ли,

Едва ли лучше, до - печали,
До - гордости, до - униженья,
До - не любви к своим слезам...
До - пониманья, до - прощенья,
До - верности, Онегин, Вам.

* * *

Когда-то были мы и бедняки,
о них писали скучные поэты,
мы - и больные, мы - и старики,
любившие давать советы;
когда-то были воля и тюрьма:
мы, жившие по праву на свободе,
преступники, сидевшие в тюрьме.
Когда-то были лето и зима...
Смешалось все давным-давно
в природе,
смешалось в жизни, спуталось в уме, -
не разобрать, кто молод, кто богат,
кто перед кем и кто в чем виноват,
и вообще, что значит преступленье...
Когда-то были родина, семья,
враги или союзники, друзья...
Теперь остались только ты и я,
но у тебя и в этом есть сомненье.

* * *

Жизнь пройдет и тихо оборвется
В море, в неудачу, в ничего...
А пока - так близко - сердце бьется
И не слышит сердца моего.
Жизнь пройдет, но это безразлично -

Ты напомни, Расскажи, верни...
Этот страх, такой давно привычный,
Ведь живут же все-таки они.
Отвечают детям на вопросы,
Посылают женщинам цветы,
Грустно спорят, курят папиросы,
Все-таки не то...

* * *

Все не о том. Помолчи, подожди,
Месяцы. Память. Потери...
В городе нашем туманы, дожди,
В комнате узкие двери.

В городе... нет, это все не о том.
В комнате... нет, помолчим, подождем.

Что же случилось?

Стало совсем на мгновенье светло
- Мы не для счастья живем -
Сквозь занавеску чернеет стекло,
Вспомнилось снова такое тепло.
Вспомнилось... нет, помолчим,
подождем.

* * *

Хочется блоковской, щедрой
напевности
(Тоже рожденной тоской),
Да и любви, и разлуки, и ревности,
Слез, от которых покой.

Хочется верности, денег, величия,
Попросту - жизни самой.
От бесприютности, от безразличия
Тянет в чужую Россию - домой...

Лучше? Не знаю. Но будет иначе -
Многим беднее, многим богаче,

И холоднее зимой.

* * *

Признаю по-старому и снова
(только Вы не слышите сейчас):
Я люблю другое и другого,
Оттого что сердце любит Вас.

Я люблю старинные флаконы,
Кактусы, камни и ковры,
Строгой математики законы
И законы карточной игры.

В ресторанах - темные гитары,
В праздники - нарядные бульвары.
И еще: железные дороги,
Рельсы, убегающие вдаль...

Все наследство счастья и тревоги,
То, чего не стыдно и не жаль.

* * *

Я помню о тебе, Татьяна...
Во мне еще жива любовь.
Но, как за чтением романа,
тревожна мысль, спокойна кровь.

Я разуверилась во многом,
скупее слезы и слова -
что это гибель, благодать?
Теперь, когда над эпилогом
уже склонилась голова,
чего еще от жизни ждать...
Скажи, какого откровенья,
каких мучительных побед?

Любви бесплодны вдохновенья.
От них остался темный след:
жуть суеверий, снов, гаданий,
да ворох писем и бумаг...
И яд мечты о том свиданье,
когда скажу спокойно я:
Прощай, мой друг. Прости, мой враг.
Сегодня очередь моя.

* * *

Эта Пасха почти настоящей была.
Как бывает у добрых людей,
дети красили яйца. За несколько дней
золотые пеклись куличи...

И доверчиво таял весь мир от тепла
желтым воском пасхальной свечи.

И казалось, что купол церковный высок,
что понятны слова литургии.
И хотелось так верить, как верят другие...
Если правда, что путь наш, как вечность,
далек,
то разлука, как жизнь, коротка...

А тоска по тебе - как живой стебелек
облетевшего за ночь цветка.

* * *

Как в одинокой камере рассвет,
под утро будит страшная тревога.
Чего бояться, если ада нет?
Не может ада быть по воле Бога.

И если мир любить - прекрасный,
грешный -
разлука с ним все может искупить.
Я думаю еще - уже теряя нить, -
что утешает только безутешный
и лишь сомненье может убедить.

* * *

Память Б.Поплавского

Все было: распутство, безделье,
в лубочных огнях Монпарнас,
нелегкое наше веселье,
нетрезвое горе. Похмелье
и холод в предутренний час.

Тоскливо... в граненом стакане
вчерашние розы свежи...
Светает в пустом ресторане...
В те ночи, в редешем дурмане
легенда творилась из лжи.

Пусть судят о ней поколения.
Но в мир наш, где памяти нет,
доносятся отзвуки пенья
оттуда, где ждет воскресенья
в молчанье погивший поэт.

ПРОЗА

Баакур

ЧХАТПАРАШВИЛИ

Я, СМОТЯЩИЙ

Что-то шерсть на лапах одичала, и в ушах бурелом. Почему Господь, если он есть, дал мне разум, а языка лишил? Был бы я лучше дважды неразумным, а вот Папе, тугодуму двуногому, Нарциссу новоявленному, выдал бы: - Ты вычеси мне лапы, подстриги в ушах, внутри в ушах, а не снаружи, а сам тщательно помойся, не очень-то приятно тебя обонять. И сделай, наконец, что-нибудь со своими подмышками. Нету больше сил моих эти самые подмышки терпеть. Кабы я мог себя нюха лишить, спокойно дожил бы свои собачьи дни. Они: - Ах, ох, наш мальчик, наш дуральчик - вы же всем своим пахнете, ребята, это же какая мука в ваших запахах присутствовать. Намедни изволили на банкет отбыть. Ладно, пока упёрлись, терпел, с полчаса душились, пудрились, кстате, врёт Папа, не французский у него одекolon, а вернулись... Ой грехи мои собачьи, осетрина, которую вы трескали, не второй, а аж четвёртой свежести, а жаркое вчера, а не сегодня ресторанные сволочи собирали с недоеденных столов и подали вам, фраерам, под бенгальский огонь, чуть разогрев. До утра Папа блевал, надрываясь, а я переживал за клозетной дверью.

К примеру, были бы у Папы мозги, водил бы меня с собой дегустатором, здоровее был бы. А то мнит себя, смотреть и понимать противно. Если, допустим, мы без Мама уехали в дальний дом, он вдруг такой независимый делается, постель у печи разберёт и мне небрежно: - Ну давай, паршивый, залезай.

Кто из нас попаршивее, это большой вопрос. Осчастливил, видите ли. При Мама шиш позвал бы, а тут: - Иди, Бабу, вместе будем спать.

В могиле я видел - перегаром воняет, храпит и ногами толкается. Хоть и люблю я его, непонятно за что, нет в нём той нашей, собачей гордости, когда ты на смерть пойдёшь, а назад ни на коготь не сдашь, даже если Мама венником пугает.

Ну-с, например, о Папе разговор, друзьям своим отказать он не умеет, берёт, как положено, на грудь и пытается оставаться мужчиной до конца. Мама такой героизм воспринимает по женскому разумению, и торжественное возвращение кормильца в семью завершается успокоением на диване в гостиной. Ладно, а я ведь должен проследить, чтоб всё прошло без ущерба для семьи.

Значит, стерегу его, забудьду, до утра - вечные мои бессонные ночи, а я, между прочим, уже в годах, мне самому отдых нужен. А с рассветом у Папы язык к пищеводу прилипший, и дышит он, собрав последние силы. Беру я его осторожно клыками за пульс и веду на прогулку.

И что же видят соседи и уличные доброжелатели? Они видят - Папа спозаранку в пиджачной паре и при галстукке прогуливает любимчика, мохнатого симпатюлю. Зачёт семье, пример мужьям алкоголикам.

Знали бы наблюдающие, что Папа с вечера не раздевался, а в чём прогуливается, в том и дрых. Ну а я, ухмыляясь в бороду, выгуливаю Папу и чётко секу момент, когда похмелье начнёт переходить в кому и надо будет волочь Папу домой, к кухонной плите, на предмет реанимационного кофе.

Да, заболтался я. Мне про малышей надо рассказать и про нашу дружбу. Эту дружбу просто так трудно затеять, она, наверное, заранее кем-то устроена.

Бывает дружба обычная, как у всех. Вот за забором нашего дальнего дома живёт петух со своими квочками. Ну, какое моё дело - петух и куры, да и пёс с ними. Ан нет. Петух тот, престарок, от чванства своего обнаглевший, через забор

к нам лазает, клешней своей гнусной грядки наши ковыряет и шлюшонок своих созывает на халявное угощение.

Раз я ему хвост выдрал, отпустил с миром. На следующий раз прикусил сильнее - не понял, сволочь. Ну-с, ладно, полезла эта гнида в нашу клубнику в очередной раз. Погнал я его с дальним разворотом, он через забор - я за ним, и решил кончать на вражьей территории. Уже я на ходу клыки показал, задние лапы вывернул (краем глаза вижу - соседка от сарая бежит с дрыном), прикинул расстояние - порядок, услею, и петушка подминать начал, и тут, чёрт бы его взял, под передние мои лапы бросается несмышлёный поросят и пятачком своим слонявым и всем своим несерьёзным хвостиком просит мира.

Ладно, я отходчивый, спрятал клыки, облизал поросяке морду и пошёл через забор к себе. И что вы думаете? Тот самый поросят стал ходить ко мне через уличную калитку и завязывать дружбу.

Умница он был, но по молодости мало знал. Просто любил земное окружение из-за своей восторженности миром. Я его полюбил, с ним спокойно было, и от него пахло молоком. Он, бывало, похрюкает, посуетится, потом очень рядом сядет, прижмётся, и мы вместе думаем обо всём.

Когда той осенью мы уезжали из дальнего дома на зиму, соседи собрали урожай, затеяли самогон и моего друга съели.

Да, а потом весной, на следующий приезд, появились малыши. Ну, они не вдруг появились, они всегда были, но той весной они мне показались. С ними трудно, они не знают времени, спрашивают меня недавно: - Где ты был, обещал же, что с рассветом игру продолжим. Ни хрена себе рассвет - от лета до лета.

Я их сперва учуял в печной трубе. Есть у нас в дальнем доме такая, к дому пристроенная печка, под маленькой крышей. В ней раньше хлеб пекли, а теперь Мама мусор сжигает, или Папа жарит шашлыки. Так вот, в трубе этой самой печки я их и нашёл. Не понял вдруг - что это там, ненашенское. Скакал весь день перед той самой печкой, как мартышка, осип от лая. Папа ругался, загонял меня в дом, потом сам на трубу полез. Ни фига, конечно, не понял, а потом, к звёздам, они мне объявились. Славные они и умеют со мной говорить. Говорят не так, как Папа и другие люди, они внутри говорят, мало говорят, но очень понятно.

Папе, Мама и моим человекоёстрам они не покажутся, говорят: - Нельзя. А охраняют их по-своему, теперь через меня. Если чего моим делать не стоит, они мне подсказывают, а я после - хвост оторви, а проследить должен.

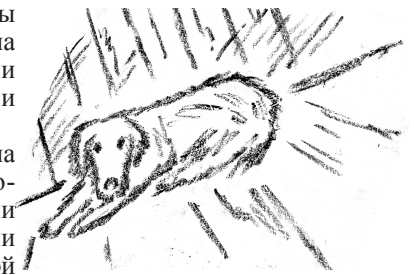
Как подружились, они мне блох вывели навсегда. Внутри блохам сказали, и те бегом, не оглядываясь. Попросил я малышей с Папы спесь согнать, ему же на пользу, отказались, вмешиваться напрямую у них не положено, хотя, говорят:

- Папе твоему стоило бы чуток хвост накрутить.

Но против своих законов они, хоть убей.

Да, дело опять к осени идёт, нам пора из дальнего дома двигать, а малыши забеспокоились. Им от трубы и печки никак, и признались мне, поначалу не хотели говорить, жалели, но сказали - мне эту зиму еле пережить, вышел мой собачий срок. Говорят: - Как-нибудь дотяни до завтра, - это у них весна - без присмотра семью оставлять нельзя, а потом мы тебя в нового щёна переселим, чтоб, значит, опять семью охранял через нас.

Ну, что делать, буду держаться. Знаю, Папа начнёт по врачам таскать, мерзкие таблетки будут в пасть совать, задницу исколют... Ладно, перетерпим, такая наша доля. До весны продержусь, а там малыши присмотрят, и новый я появится, и всё будет, как раньше. А пока есть время, надо Папе внушить, чтоб после закопал меня под большим орехом. Это моё любимое место во дворе дальнего дома, и с печкой рядом...



Елена ЧЕРНЯЕВА

ЛИЦО

Автобус медленно заворачивал, крутясь по петлям дороги и тяжело переваливаясь с одного бока на другой. Его натужное урчание, переходящее временами в рев, сотрясало салон, швыряя пассажиров то влево, то вправо. Местами, когда дорога делалась ровнее, он прибавлял ходу, наверстывая потерянное на крутых виражах время. Тогда за запыленным окном начинали весело мелькать несущиеся встречь путано-колочные кусты со спелой черной ягодой, ветки лесного орешника, приветственно повернувшие свои широкие зеленые ладони к дороге, возникающие из ниоткуда и тут же исчезающие в никуда, райские поляны с травой и цветами по пояс. Ехать надо было еще минут сорок. Неужели здесь могли жить люди? Но именно это подтверждал битком набитый желтый ВАЗик, скрипящий раздвижными дверями, подбирающий новых и новых пассажиров с мешками, рюкзаками и другим не менее прозаическим грузом. Маля сидела возле окна, колени под коротким оранжевым, "дорожным" платьем сжаты, руки и шея открыты. Иногда, после особенно крутого поворота, она чувствовала, как тяжелеет голова и к горлу подступает легкая тошнота. Тогда она дышала глубже и старалась смотреть в одну точку, туда, где за пластиковым стеклом виднелся затылок водителя. Ей нравилось приезжать сюда на лето, здесь, в горном местечке, была ни с чем не сравнимая воля, дышалось легко, и каждый день выпадал из календаря, словно неожиданный и дорогой подарок.

Еще ей нравилось нравиться. Правда, больше, чем другим, ей хотелось нравиться самой себе.

Здесь это случалось легко: тело обретало особую, летнюю свободу, оно загорало и крепло, а думать можно было лишь о том, что будет завтра, какой ясный или с легкими облачками день подарит прогулки, купание или то и другое вместе, и как хороша она будет, когда вечером, одевшись потеплее, пройдет по поселку, разглядывая чистые, игрушечно яркие, дома.

Она посмотрелась в автобусное стекло, выдавшее на мгновение из своей глубины ее лицо на фоне мелькающей темной зелени. Нет, пока она себе не нравилась, она еще была слишком городской, ее руки и ноги были еще совсем белы, и волосы ничуть не выгорели, не то, что у местных. Их золотистые, почти белесые гривы прямо сверкали на фоне кирпичного загара, покрывавшего лица. Дверь в очередной раз скрипнула и, скрежеща, отвалилась в сторону. На подножку поднялся пассажир.

Он так и остался стоять на ступеньке, схватившись одной рукой за никелированный поручень сбоку, другую небрежно перебросив через второй такой же - с другой стороны. Маля взглянула, потом отвернулась к окну, но тут ее снова затошнило, и она выпрямилась в струнку, глядя прямо вперед, туда, где извивалась серая, местами глянцево-черная дорога.

Хорошо, что можно было надолго (целых три месяца!) забыть про школу. Она вспоминалась, как что-то далекое, нереальное, чужое. Место, о котором не хочется думать, и которое (возможно) просто исчезнет, если о нем не думать. Там она себе не нравилась особенно: от нее требовалось быть как все, это значит - выполнять задания, отвечать на уроках, писать контрольные и, к тому же, стандартно реагировать на выходки одноклассников. И если учебный процесс, не слишком увлекая, все же удавался ей, то предвидеть реакции своих сверстников - этого она не умела совершенно. Она взглянула на свои руки, покойно лежавшие на желтой сумке: вот собственные руки ей всегда нравились. Хотя, если поразмыслить, то и фигура у нее неплохая, скорее, даже хорошая, особенно талия. И это любимое, негородское платье, в котором чувствуешь себя еще стройнее и волосы, которые она наконец-то могла распустить по плечам...

Пассажир на подножке заговорил с кем-то и засмеялся. Он легко мешал русские слова с греческими. Темно-золотистый

загар покрывал лицо, шею. Только там, где кожа собиралась в легкие морщины, возле глаз, на лбу - оставались белые полосы.

Маля посмотрела на него в третий раз, потом в четвертый. Древние эллины, были ли они такими? Такими загорелыми, спокойными, такими... красивыми. Ей сделалось грустно от того, что пассажир ни разу даже не взглянул на нее, хотя она уже несколько раз уставлялась на него во все глаза. Его кудрявые светлые (как у большинства здесь) волосы трепал встречный ветерок. Правда, если присмотреться, то эта глубокая складка, идущая от угла носа к углу рта - что-то простецкое в облике, грубое. Наверно, он попивает, как все местные, ругается матом, и что-нибудь еще такое, что она часто замечала в мужчинах и что неизменно внутренне отталкивало ее. Она и сама не знала, что это. Во всяком случае, здесь мужчины вели себя спокойнее, не то, что в том месте, откуда она прибыла. Там они переменяли в поведении истерическую развязность с заторможенным, тупым (и оттого особенно отталкивающим Малю) вождением, которое так и перло из них, стоило лишь оказаться в поле их зрения.

Чтобы не смотреть все время на своего эллина, Маля отвернулась к окну. За стеклом мелькнул яркий шлем мотоциклиста, сверкнули на солнце голубоватые очки в пол лица. Седок на тарахтящем мотоцикле исчез за поворотом, и звук мгновенно стих, поглощенный выпирающей, горбоносой скалой. Маля вспомнила, что на этом участке часто гибли именно мотоциклисты. Хотя, говорили, что однажды в пропасть свалился целый автобус с туристами. Внизу, сразу за белыми с черным дорожными столбиками, на глубине, наверно, метров двухсот темным малахитовым блеском сверкнула в изгибе речка. Маля вдохнула терпкий воздух, ворвавшийся в открытое окно, глазам сделалось горячо, в носу зашипило.

Мгновенная грусть, та, что бывает от неожиданного пейзажа или случайной мелодии, возникла вдруг где-то чуть пониже ребер и поднялась к глазам, наливаясь там влажным соком. Она стала думать, что ей хотелось бы знать пассажира на подножке. Не познакомиться, а именно знать, так, чтобы это сделалось как-то само собой, но что этого, конечно же, не будет, и это необыкновенное лицо она больше никогда не увидит, хотя, вот, может, именно это лицо, так притягивавшее ее... она не знала, что дальше: дорожные мысли не хотели додумываться.

Поездка подходила к концу. Пассажиры заерзали на своих местах, стали вытаскивать мешки из-под сидений, нарочито шумные туристы, с тайной издевкой над собственной беспокойной блажью, подхватывали пудовые рюкзаки. На повороте, возле первого дома, неподалеку от местного, вконец заросшего кладбища, автобус притормозил, присев кроколичьи на все четыре колеса, часть пассажиров тихо стекла по ступенькам и растворилась в зелени придорожных кустов. Маля обернулась: через заднее стекло было видно, как эллин уходил по дороге, перебросив через плечо простую черную авоську, дополнив набитую хлебными кирпичиками, здесь их почему-то с нежностью называли "булка хлеба". Автобус уже везжал в поселок.

Вечером, устав от дороги и слишком отчетливых впечатлений, Маля вытянулась на слегка пахшей затхлостью, хотя очень чистой постели. Простыни были влажны. Непривычно громко вопили сверчки, в счастливо притихшем саду небо развесило на деревьях влажные звездные полотнища. Завтрашний день обещал быть ясным. Маля решила, что встанет рано, когда солнце будет еще только выползать из-за горы, и все вокруг засверкает в один замечательно яркий момент, а она наденет свое любимое оранжевое платье и легкие босоножки и выйдет в сад, а после завтрака обязательно пойдет в поселок, где с удовольствием побродит по магазинам, купит свежеспеченного теплого хлеба и, может, молока, а потом будет просто ходить по улицам и, скорее всего, где-нибудь случайно увидит еще раз лицо своего эллина а, главное, она еще очень долго будет нравиться самой себе.



МТКВАРДАЛЕУЛИ

Марина КУДИМОВА

Родилась в Тамбове, в 1953 г. Окончила Тамбовский педагогический институт. Печатается с 1969 г. Автор книг стихов: ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЧИН. М., 1982; ЧУТЬ ЧТО. М., "Современник", 1987; В АНТРАКТЕ, В ПРОВИНЦИИ. 1988 (на дат. и рус. языках); АРЫСЬ-ПОЛЕ, М., "Современник", 1989; ОБЛАСТЬ. М., "Молодая гвардия", 1990. Публиковала стихи в журналах и альманахах "Апрель", "Волга", "Столица", "Кредо", "Континент", "Новый мир", "Дружба народов", "Знамя". Переводит поэтов Грузии и народов России. Произведения М.Кудимовой переведены на английский, грузинский, датский языки. Член СП СССР (1988), Русского ПЕН-центра (1991). Премии имени В.Маяковского Совета министров Грузинской ССР (1982), журнала "Новый мир" (2000). Заведует отделом поэзии в "Литературной Газете".

БЛОК

Вы дождь мой, Блок!
 Когда со ставней
 Заводит ветер "нечет-чет",
 Я кругом на воде представлю
 Ваш пасторский воротничок.
 И если полуложь овертит
 И ссадит горло, как узда,-
 Вы - капля на моих устах,
 Которая молчать уверит.
 Не труся оскорбить семейство,
 Из нежности не напоказ
 Привычкой число это действие:
 Единолично слышать Вас.
 Чтоб самой жидкой Вашей струйки,
 Мой затяжной, не расплескать,
 Под небо подставляю руки
 Плотней любого лепестка.
 Пролейте долее, мой спорный!
 Мы все из Вашего ребра,
 Я чувствую:
 Вы - блок, Вы - сборник
 России, влаги, октября.
 Вы дождь мой, Блок!
 Я прощаюсь,
 Но Вы мой дождь - И в штиль, и в
 норд.
 И я не перевоплощаюсь,
 Я с Вам воплощаюсь вновь.

* * *

Как ни кренились, назревая, ливни,
 Была их траектория пряма.
 Лишь прибывало параллельных
 линий
 Сумбурной геометрии ума.
 Как ни смешно погода суетилась,
 И пристальна была я и права.
 Мои шаги соседями судились,
 Коль, как цветы, я в дом несла дрова.
 Любимый мой!

Нимало не
 напрягшись,

Я понимала каждый твой глюк,
 И острый угол у тебя на пряжке
 Я целовала в самый холодок.
 Так не целуют, а дают обеты!
 Запотевали губы, как стакан.
 Я плакала в невкусные обеды,
 Ревнуя их к зачерпнутым стихам.
 Где с круга мироздание сводило,
 Куда и краски странные стеклись,
 Продев неблизлежащее светило,
 Две параллели вдруг пересеклись.

ОТРЫВОК

Хвороба принудит глядеть снизу
 вверху.
 Внимать мирозданию навзничь.
 Такого искуса искал изувер,
 В прозекторской запершись на ночь.
 Плашмя попадают в глаза воробьи,
 Темнят облубованный ракурс.
 И в этом уже элемент ворожбы,
 Как в ритме дикарских каракуль.
 А блик будоражащий -
 вылитый Блок -
 Навылет вонзается в бельмы.
 И ходит кругами заведомый бог-
 Парит к предвкушению шельмы.
 Вполне вероятно, в тлетворный манок
 И влопался радужный атом:
 Ведь поочередно - то Гог, то Магог-
 Страшают заведомым адом.
 Иначе бы умыслы были чужды
 Сознания, что ты - промежуток
 От тьмы и до тьмы, от нужды до
 нужды,
 И должность твоя кроме шуток.
 Ах, бел-горюч камень, заведомый
 брат!
 И было бы легче, солги я.
 Но ставят мне пятую эру подряд
 Диагноз один - ностальгия.

* * *

Это руки твои все слышны,
 Расплывясь на свету, как мембраны.
 Это речи, чисты или бранны,
 На ветру щекотны и смешны.
 Ну, должно быть, октябрь.
 Семь погод
 Ножки свесили с лавки садовой
 И свои небольшие содомы
 Уложили на грудь, на покой.
 Это падаю навзничь, навзрыд,
 Чтоб нестриженный помнить затылок
 И картечинки ягод застылых,
 По десне покатав, не разгрызть.
 Повторись, мой любимый, во всем!
 Утыкаясь в распорку ключицы
 Всякой женщине, что приключится
 Над твоим посторонним лицом.
 Горло шарфом укрой, засвисти-
 Не сменись ни в улыбке, ни в кашле.
 Пусть и мне позавидуют: как же
 умудрились Вы это снести?!
 Дал бы бог умудриться и впредь
 И, кивая той женщине легкой,

По прическе, по сгибу у локтя
 Несомненно тебя усмотреть.
 И целуя слова с твоих губ -
 Да не лопнет пузырик сквознейший,
 Оставляю их милым, позднейшим
 В октябре. И уже на снегу.

ТОЧНАЯ НАУКА

Искусство - точная наука.
 Ему не раз в часы совы
 Хоть мне нашептывать на ухо
 Диктаты темные свои.
 Да где ж быть понятиям порука?!

Искусство - точная наука.
 Она задаст дрозда и перца
 И докажет, клокоча,
 Что размонтируется сердце
 На два басовые ключа.
 Моцартианский же - скрипичный-
 Геральдикой не столь типичный.

Что ж!

В благодетине есть ущербность
 Не выхватить по таксе кость,
 Но, как в беременность и щенность,
 Окрыситься на токсикоз.
 За мужество прямых посылов
 Вотще прошляпит ортодокс,
 Что приторачивает с пылу
 Значок под лацканом Видок.
 Что личные местоимения
 Людей не делают семейней.
 Раз сострадания изначальны,
 Они выходят на помост
 Пикетчиками умолчаний
 И демонстрантами немотств.
 А совесть не маниакальна -
 Константна и зодиакальна.
 Медлительна ее излука.
 Искусство - точная наука.

(Опубликовано в "Литературной Грузии",
 №8, 1977)

ШЕСТАЯ ПОЛОВИНА

Зияющая седловина -
 Как с пудинга проба снята.
 Шестая моя половина
 Пришлась аккурат на сюда.
 В прогале сапфир на сапфире

Лежит недвижимо почти,
И я, не умея цифири,
Загнула персты до шести.
А мне б в пятерне утесниться
И не обсуждать тесноты,
Но шуйца воззвала к деснице:
Поди посочувствуй и ты!
Небось, все писала, писала,
Меня же - гнала да гнала.
Ведь мы - не кремь и кресало, -
Я, веришь ли, изнемогла!

Десница моя, взвеселися,
Обильный поставь могарыч:
Тебя бы, когда не Тбилиси,
Задействовал кто бы опричь?
Среди черепицы и толя
Здесь реже встречается жесьть...
Меж равными равная доля -
Ей-ей, половина и есть!

Десница моя неповинна,
Безвластна в душе-гольтепе.
Шестая моя половина,
Тбилиси, я верю тебе!
Пью чашу хлебом и заглазно
И вем, что десницей скреплю.

Кто скажет, что это бессвязно,
По тем я веки скорблю.

ПОДСТРОЧНИК

Дальнозоркому дали - что близи:
Дашь крюка, не спрямится верста.
Полновесное имя Тбилиси
Эта ярмарка носит спроста.
Залученная в город-игрушку,
Спервака небрегла я игрой:
Не хватилась - оставь-де полушку -
Над крутой толоконной Курой.
В прейскуранте немислимых
лакомств
Не накушала я живота,
И меня пробирали, как лакмус,
Только красный да синий цвета.

Я ручаюсь за плод неурочный, -
То и радости, что не червив:
Он кондовый, как будто подстрочник,
Замордованный, как черновик.

Дальнодумному жизнь - эпопея,
Я ж за то уважаю судьбу,
Что стихами оплесть не поспею
Этот живорожденный сумбур.

* * *

..Но есть родство и выше писем,
Открыточничества бездарного.
Уже в Тбилиси потбилисим -
На Хетагурова, на Барнова.
Я там не с брёлкой, не с сопелкой
Явилась, и не одалискою,
А ординарною кекелкой,
То бишь, мешанкою тбилискою.
Я не опохмелялась в хашной

С заправкостью общесоюзною,
А, засучив рукав замашный,
Пекла лепеху кукурузную.
И не штудируя в изыске
Особые отметки в паспорте,
Там говорили по-грузински
Со мной в очередях и транспорте.
Я ноги там перетрудила -
Разыскивая тело Авеля,
И с тем стихи переводила
И невозможно и неправильно:
Легко дается лишь чужое,
А если кровное, родимое,
Небось, гугнит язык тяжелый
Угрюмое да нелюдимое.
Когда решен апрель на небе,
И, сброшюрованные кипами,
Самгори, Глдани и Багеби
Тасуются стереотипами
Тогда - бумага на подвертки
Про дело милое авгурово,
И - продавать тархун в ведерке
На Барнова, на Хетагурова.

ПОДСТРОЧНИКИ

Фрагменты из поэмы

С ТБИЛИССКОГО

Вид в окоеме изогнутом
Есть не пейзаж, а рельеф!
Здесь очутиться б изографом
И запетлять, как форель,
По мостовым ниспадающим,
Исподволь ход ускоряющим,
На нерестелище стечь -
С небушка до Хетагурова -
Жадно наляпывать скетч,
Как сигарету докуривать...
Весь наяву, на плаву,
Город не штопает дыр своих.
Я ж толмачихой слыву
И беспардонно не мытарствую:
Он мне довелся сродни -
Мне его не с кем сравнить.
Брякну ль о дождике: оспа-де? -
Он восприемлем как есть...
Господи, господи, господи,
Господи, не перевесть!

ДОСТУП

*...языком склонить врагов к добру
Из "Авесты"*

Заладили каскад
На уровне Потопа -
С-под рук ушел Кавказ
Арагвой плоскостопой.
Ушел, оставив пук
Дохристианских капищ,
И впредь уйдет с-под рук
И вырвется из лапищ.
Кавказ - он сам с усам -
Хотел быть особливым -
Укором небесам

С доступным их разливом.
Опнулись об отрог
Не только турки-персы...
Тектоника и бог
Совместно и предезрко
Однообразье сфер
Горами оживили.
Что пишешь, офицер
Давид Гурамишвили?
Мы рано поутру
Пришли - поэт к поэту -
Склонить врагов к добру,
Склонить друзей к ответу.
Под чоботами - крен
Арийского простора.
Светило набекрень,
Как шляпа из кастора.
Когда ни за него,
Ни за грозу - за молнию -
Не вынесу сего!
Хоть созвуков - тьма тем,
Стоит в поэте тризну
Прародина Эдем,
Откуда пращур изгнан.
Мы веруем, Давид,
Два тертых ортодокса,
Что каждый индивид
Туда имеет доступ.
Кивают нам: там бог -
На двойников Адама,
Полтава, Сагурамо,
Тбилиси и Тамбов.
И в сонмище словес
Не подмахнем облыжных -
Из ревности о ближних
Не оскорбим небес!
Они - твердыня, бут -
Не прятки-потерялки...
Но, сдерживая бунт,
Мы терпим беспорядки.
Мне страшно жить, приспев
К тебе, Гурамишвили,
Чтоб толпы нараспев
Губами шевелили!
Но там и ворожу,
Где место застолбила,
И не перевожу,
А говорю, как было.
Чихнешь свинцом в истца,
Толпа, - и будь здорова, -
От первого, второго
И третьего лица!
Как - с пулею во лбу -
Мне в нацию не вдаться,
Помиловать толпу,
Казнить христопродавца?
А в этом и секрет
Христа и Аполлона,
И горек виногрет
Из кухонь Вавилона.
Но я не разорусь,
покуда раным-рано
Спит с Палестиной Русь
И с Грузией Украиной.
Так пусть их удивит,
Что не мутят колодцы
Потравой инородцы
Марина и Давид!

ПЕРЕВОДЫ

Шота ШИШИАНИДЗЕ (1929-1999)

Окончил филологический факультет Тбилисского Университета. Первые публикации датируются 1946 годом. Автор восьми стихотворных сборников. Награжден орденом "Знак Почёта". Лауреат Государственной премии СССР, Государственной премии Грузии имени Шота Руставели.

ТРУБНЫЙ ГЛАС исповедь к судному дню

Когда настанет судный день вслед за ночным беззвездьем,
 Меня никто не защитит от страшного возмездья.
 Зачин трубы утяжелят набатные раскаты.
 Направят копь в спину мне архангелы-гонцы.
 Угрюмые лжедолжности свидетелей расплаты
 Займут без промедления чумные лжепевцы.
 Завет скрижальный "не убий" я исподволь нарушил.
 По горло накрепко увяз в трясиной мгле греха.
 Пора признаться, что не раз завистливые души
 Пронзала строчка моего отчаянного стиха.
 Я никогда не походил ни на прелюбодея,
 Ни на того, кого минул крутой любовный раж.
 Быть может, добрый мой Господь по-свойски порадеет
 И не поставит мне в вину любовь, как злую блажь.
 Самозабвенно я не лгал. Но жизни безобманной
 Дано ли дружбу сохранить, расправиться с врагом,
 Взлелеять трепетный восторг избранницы желанной,
 Велеречивостью блистать за трапезным столом?!
 "Не укради..." / Как нелегко противиться соблазну /
 Напрасно музу подстрекал двуликий херувим.
 Судьбой и книгами клянусь: среди воришек разных
 Я не робел, но свой кусок предпочитал другим.
 Взлетает солнце по утрам в тревожном гуле меди.
 Ущербный месяц над землёй трубит в сигнальный рог.
 Что жизнь?.. Цветок и шум дождя... И скромное наследье, -
 Кроме стихов я ничего оставить вам не смог.

ПОБЫВКА

Нас снова, мама, ночь обволокла.
 Я не покинул громовую сечу.
 Я выскользнул, как в детстве, из окна
 И устремился снам твоим навстречу.
 Минутный срок свиданью отведён.
 Пробыть с тобой не более минуты -
 Каков удел?! Но как ни горек он,
 Благодарю за сброшенные пути.
 За два крыла, проросшие в спине -
 Им велено осилить расстояние.
 А молнией подхваченному, мне,
 Не велено откладывать свиданье.
 Когда меня прошил шальной свинец,
 От вас эту беду не утаили.
 В мгновенье ока постарел отец,
 А ты живой примерилась к могиле.
 Держись, родная... Вздохом боль укрой.
 И так на сердце ран переизбыток.
 Не плачь, если найдёшь кафтанчик мой
 Или тетрадей пожелтелый свиток.
 Не бойся, мама! Всё пойдёт на лад.
 Знали мы безвременье похлеще.
 Грех отомрёт. Признает брата брат.
 И Грузия восстанет птицей вещей.
 Сниму пушинку с правого крыла -
 На свете нет священной амулета.
 Вот здесь, на полке, в Книгу книг легла

Твоя броня от порчи и навета.
 Я вымолвился. Ухожу в зенит.
 Над Мцхетой ангел метит путь мой Млечный.
 Земля нас, мама, рассоединит,
 Но небо Картли вновь сведёт навечно.

x x x

Я болен. Я в тревожном сне.
 От бреда боль или от яви?
 Я, как птенец, что по весне
 Гнездо рискованно оставил.

Котом посапывает век
 И, крадучись, прыжок свой метит,
 Над дымом гор, над синью рек
 Я отличаю жизнь от смерти.

Сочувствию легко понять
 Моих товарищей смятенье.
 А я не знаю, где искать,
 В каком из двух миров спасенье?

Всё это правда или сон?
 И я ли губельно вынослив?
 Не в дрёму ли я погружён
 При жизни? И не жизнь ли после?

Родных, исчезнувших давно,
 Вопросом прежним беспокою.
 Раз небыть бытью равно, -
 Главнее всё-таки какое?

И верно ль, что Природа - лик
 Владыки? Или суть предмета,
 Овеществляющего миг
 В той стороне согласно этой?

Чем смысл рожденья объясним?
 Где до него мы пребывали?
 Во что вельнем роковым
 Нас обратят иные дали?

И мать с опаской нажитой
 Ответствует: "Творцом наложен
 Запрет на истину, а к той
 Один-единный путь неложен.

Всеведущим ты можешь стать,
 Освободив себя от скверны,
 Переча смерти, в жизнь вращать,
 Чтоб слиться с вечностью безмерной".

Конец это или исток?
 Действительность или виденье?
 Живёшь - живи. А выйдет срок -
 Не запоздаст пробужденье...

Перевод Вахтанга Буачидзе

НАШЕ ЗАРУБЕЖЬЕ

Даниил ЧКОНЦЯ

Даниил Чконця - поэт, переводчик, литературный критик, родился в 1946 году в Порт-Артуре. Жил в Мариуполе, Тбилиси, Москве. Окончил Литературный институт имени Горького. Автор восьми книг стихов. С 1996 года живет в Кёльне (Германия). С 2005 года - главный редактор (соредактор) журнала "Зарубежные записки". Его стихи, статьи, переводы публиковались во многих периодических изданиях, в том числе, в "Литературной газете", в журналах "Юность", "Дружба народов", "Литературная Грузия", "Октябрь", в "Дне поэзии", альманахах и сборниках.

ЛЕТЯТ ПЕРЕЛЁТНЫЕ ЧИСЛА...

Я согласен назвать ностальгией
Бесконечно тягучие сны.
Вижу лица, но лица - другие.
И другие приметы весны.

Подступающий миг пробужденья
Не пугает реальностью дня.
Но сменить бы мне дату рожденья,
Раз уж адрес иной у меня!

И, посмертные слепки снимая,
Счет ушедшим мгновеньям веду.
Я сегодня, что лошадь хромая,
Сбился с шага и сплю на ходу.

Не задворки, зады, перекопы,
Не обмылки в гремящих тазах...
Я стою посредине Европы
С азиатской тоскою в глазах.

ВОСЕМЬДЕСЯТ СЕДЬМОЙ

Не понимая ни хрена -
На том или на этом свете,
Прислушался: сопит жена
И дышат безмятежно дети.

С чего вскочил? Всему виной,
Что было принято неслабо.
Приснился дикий сон дурной
И сладкая чужая баба.

Еще не кончился завод,
В башке - сумбурное уродство.
Сейчас будильник позовет
На доблестное производство.

Жена проснётся - пригвоздит!
Ему б рюмашек пару-тройку,
И пусть по радио пиздит
Генсек про нашу перестройку.

ГРУЗИНСКОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ

Яну Гольцману

По дорожке - пыльной, старой,
По тропинке - да не споро! -
Чок да чок - бычок Цикара,
Чок да чок - бычок Никора...

Путь неблизок, мир нетесен,
День не скуп на свет и краски -

От чуть-чуть печальных песен
До наивной грустной сказки.

И неспешные отары
Тянутся нешумно в горы,
Где остался след Цикары
И не стерся след Никоры.

Потому что в этом мире
Друг - твердыня и основа,
К двум твоим - придут четыре
Добрых дела, добрых слова.

О добре ведутся споры,
И про зло талдычат свары...
Кто придет на зов Никоры?
Кто услышит зов Цикары?

Ветка к ветке, камень к камню -
Свить гнездо, сложить дорогу...
Протянись твоя рука мне -
Сразу чувствую подмогу!

И по-русски: скоро-скоро!
По-грузински: чкара-чкара!
Чок да чок - бычок Никора...
Чок да чок - бычок Цикара...

РИТМИЧЕСКИЙ РИСУНОК

рифма
интонация
метафора
точный звук
высокая поэзия
жалкое стихотворство
ремесло
призвание

профессия
и раньше все было то же
что и теперь
когда вы теряетесь
перед эксклюзивным
дистрибьютером
не решившим проблему трансферта
в связи с колебанием котировок...
хорошо

если вечер дождливый
накиньте старый плащ
(именно старый плащ
а не модную куртку)
отправляйтесь бродить
по тихим переулкам...
дробно стучат дождевые капли

шелестит ветер
гоняя опавшие листья
сбивая их в слипшийся ворох
на жухлой мокрой траве
где-то в окнах домов
голоса
музыка
а здесь промячит бродячий кот
протрусит бездомная дворняга
(конечно вас могут избить
за то что вас нельзя ограбить)
но еще остается слабенькая надежда
услышать у темного подъезда
"мне пора"

и
"побудь еще немного"...
похоже
не совсем и не все
изменилось в мире
можете тихонько заплакать
в конце концов
нам всем предстоит
умереть
и хорошо бы сделать это
по-человечески

* * *

Рановато для бабьего лета
В сентябре разыгралась жара.
Видно, песенка наша не спета,
Как нам это казалось вчера.

На рассвете туманно-бездонном
Спор нахальных ворон у окна.
Почему наша нежность бездомна?
И разлук не боится она.

Так скажи, что пора нам, пора нам
Разлететься за окоем...
Я удачи считаю по ранам,
По зазубринам в сердце моем.

* * *

Упаду в тебя, как в злую воду, -
Ты сомкнись волною надо мной
И мою дурацкую свободу
Преврати в холодный, гневный зной.

Преврати в неведомое пламя,
Или в сноп трескучего огня.
Все, что не случилось между нами,
Вспомни, если помнишь не меня.

Посмотри ни ласково, ни строго,
Осторожно, вскользь, из-за плеча...
Я тебя сломаю, недотрога,
Чтоб нежна была и горяча.

ЗИМА В КЁЛЬНЕ

Теперь не тот пошел тевтон -
Отвык от снега-гололеда.
Рейн взбунтовался! - слышен стон
Аборигенного народа.

Давай по ящику толочь,
Какое навалилось лихо...

Снег. Робкий. Белый третью ночь!
Таится в переулке тихом.

Морозцу легкому я рад!
С чего паниковать и плакать?
Не дрейфь, снежок, грей душу, брат!
А то все - слякоть, слякоть, слякоть...

Не тай и не черней, держись!
Что толку в панике и плаче!
Рейн успокоится, а жизнь
Пойдет, хоть как-то, но - иначе!

* * *

Буксир на реке завывает...
Я вышел и сразу промок.
Ну что ж, и такое бывает.
И что мне полночный звонок!

И что мне в твоём интересе -
Куда мое время летит!
Ты где-нибудь в теплой Одессе,
А здесь без конца моросит.
Здесь тусклая сырость нависла.
Не спрашивай лучше, не зли!
Летят перелетные числа
И тают в осенней дали.
Недолго уже до мороза,
Как вечер наступит - ни зги...
Какой-нибудь Бабель с Привоза
Тебе заморочит мозги.
Мерцает холодная лужа,
Буксир завывает, скорбя...
Послушай, найди себе мужа!
Пускай он ревнует тебя!

ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ

Они лежат в чужом доме,
Во тьме прижав друг к другу.
Им хорошо. И потому
Они не слышат вьюгу.
А за горячею стеной,
За неостывшей печкой
Дрожит от стужи ледяной
Горячее сердечко.
Хозяйка дома молода
И - черт возьми! - красива,
И ей студёная вода -
Как жгучая крапива.

.....

Две женщины, спеша, бегут
С рассветом на работу,
А у него - весёлый труд:
Поесть, попить компоту.
А что ж, он гость издалека.
Как милая ни просит,
Уедет скоро, а пока
Воды и дров наносит.
Потом приляжет на диван,
Натянет плед на плечи,
Возьмет переводной роман...
А там наступит вечер...

.....

Она-то ждет в своем доме,
Чтоб мать и сын уснули,
Чтобы скорей бежать к нему...
А он сидит на стуле,
С хозяйкой бледной пьет вино
И балагурит с нею,
И у нее в глазах темно,
А на дворе темнее.
Она дрожащею рукой
В тарелку хлеб свой крошит
И этот цепкий взгляд мужской
Пугает и тревожит.

БУДНИЧНАЯ ПЕСНЯ В ДЕКАБРЕ 1991

Он вставал в шесть утра
пил чай и ел бутерброд
с маслом колбасой сыром
выходил из грязного подъезда
втискивался в тряский автобус
вылезал у проходной
переодевался в робу
и полсмены гонял на автокаре
а полсмены забивал козла
мылся в душе
переодевался
у проходной встречался с дружками
пили пиво в пустовавшей торговой
палатке

сбрасывая рыбью шелуху на грязный
пол незлобиво переругивались
спорили о футболе

бегали по очереди за новой порцией
пива ругали бригадира сбрасывая
шелуху на грязный пол пили пиво
курили рассказывали анекдоты про
Василия Ивановича Рабиновича
Брежнева русских пили пиво
сбрасывая шелуху армянское радио
чукчей грузин пили пиво
коммунистов евреев сбрасывая
шелуху на пол Сару Львовну
посылали за новой порцией пива
сука бригадир сбрасывая шелуху не
выписал падла премию курили
Васькина жена стерва пили пиво
связалась с начальником сбрасывая
шелуху а ты кто такой посылали
кончай ругаться ребя пиво шелуху
дочка с соседским охламоном пиво
гады разбавляют в подвале застукали
шелуху бригадир Леонид Ильич
Рабинович а ты кто такой шелуху
козел вонючий пиво ребя посылали
кончай сбрасывая задираться

шелуху шелуху шелуху шелуху
шелуху

добирался домой на карачках
дети спали в соседней комнате
жена злая штопала носки у
телевизора

огрызнулся вкалываю день и ночь
посидел с друзьями сама небось
полдня в ничего не

делала с бабами в очередях трепалась
надоело одно и то же
ложился спать...

Он и теперь встает в шесть утра
масла нет колбасы и сыра тоже
пьет чай с хлебом
выходит из грязного подъезда

втискивается вместе с соседом в
грязный автобус

и всю дорогу до проходной
ругает этих сраных демократов

при коммуниках, - говорит, - мы
жили по-человечески

* * *

Смеясь, на опустевший пьедестал
Вскарабкался малыш... И то -
не пусто.
Народ свергать кумиров подустал
И нового не слышит златоуста.

Талдычит про державный дух и честь
Один. Другой - про рынок, путь
к прогрессу...

Народ, похоже, снова хочет есть
И своего не видит "интересу".

На сиротливой клумбе - первый снег.
Пацан сигаёт на него со смехом.
Резвись, мальчишка! Лишь бы
этот смех
Не отозвался нам печальным эхом.

Мы не умнеем. Да и не растем.
И вечный спор уже не так клокочет.
Хоть этим, хоть каким иным путем,
Россия никуда идти не хочет.

Россия хочет пить и воровать.
На то и вся желанная свобода.
И хватит бесконечно завывать
Про горестный и тяжкий путь народа.

А он такой, какой он был и есть.
Люби или хули ее, Россию,
Но мат звучит ей как благая весть,
Убийцу принимает за Мессию.

А, может быть, я слишком
желчным стал?
Или устал от вечного витийства?
В стране воруги нынче правят бал.
Но ведь они милей, чем кровопийцы.

И, может быть, и правда, ей тесна
Понятная другим система стяжек?...
Когда Россия вспрянет ото сна...
Когда... Россия... Сон глубок
и тяжек.

VERY LOOSE

КРУТИ САДА, ИЛИ МЕТАМОРФОЗЫ

(Два стихотворения Александра Кабанова)

* * *

*В саду вишневом, как на дне костра,
где угольки цветут над головою,
лишь фениксы, воскресшие с утра,
еще поют и поминают Гойю.*

*Меж пальцев - пепел, так живут в раю,
как мне признался кореш по сараю:
"Вначале - Богу душу отдаю,
затем, опохмелившись, забираю..."*

*Причудлив мой садовый инвентарь,
как много в нем орудий незнакомых:
взмахнешь веслом - расплавится янтарь,
высвобождая древних насекомых.*

*...гудит и замирает время Ц,
клубится время саранчи и гнуса,
распахнута калитка, а в конце
стихотворенья - точка от укуса.*

*Подуешь на нее - апрель, апрель,
гори, не тлей, не призывай к распаду,
и точка превращается в туннель -
к другому, абрикосовому, саду.*

* * *

*За то, что этот сад переживет века
и не осыплется минута за минутой,
возьми его за яблочко и придуши слегка,
в гнедую кожуру по осени укутай.*

*Плоды айвы, покрытые пушком,
как щеки детские - полны и розоваты,
и ты бежишь с отцовским вещмешком,
и вновь трещат от тяжести заплаты.*

*Когда стреляет Босх Иероним
двустольной кистью в голову и спину,
а ты бежишь, с рождения раним -
вишневый и седой наполовину.*

*И за оградой - вновь увидишь сад,
увидишь дом и ангельские лица
всех брошенных тобою, невпопад
варенье пишется и в баночках хранится.*

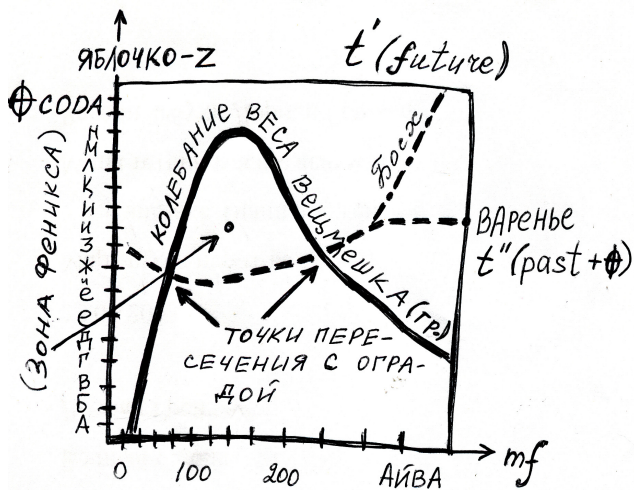
Александр КАБАНОВ

* * *

- Здравствуй, Бим!
- Здравствуй, Бом!
- Ты сегодня завтракал, Бим?
- Нет, не завтракал, а почему ты спрашиваешь?
- Дело в том, Бим, что я принес тебе стихотворение.
- Как, Бом, опять? И что же мне с ним делать?
- Во-первых, Бим, мы с тобой его сейчас прочитаем вслух.
- Зачем, Бом?
- Чтобы потом каждый из нас прочитал его про себя.
- Знаешь, Бом, когда ты спросил меня насчет того, завтракал ли я...
- А после того, как мы читаем его про себя, мы...
- Так вот, Бом, я не уверен, что действительно не завтракал.
- ...начнем вчитываться, вдумываться и погружаться в каждую строчку...
- Но, с другой стороны, Бом, если я не уверен, то это может означать и то, что я все же не завтракал.
- ...мы разберем все образы, Бим, все мотивы, мы исследуем структуру этого стихотворения и даже, возможно, затеряемся в ней.
- С той же долей вероятности, как и то, что я завтракал...
- Не отвлекайся, Бим!
- Может, мне все же пойти и позавтракать, чтобы убедиться, пока не поздно...
- Ладно, Бим, если тебе так легче, давай читаем стихотворение про себя и не будем читать его вслух.
- Мы будем читать его вместе?
- Да, Бим, вместе.
- А это прилично?
- Вполне. Начнем?

Читают про себя в течение 38 секунд.

- Ну, Бим, что ты чувствуешь?
- Все еще сомневаюсь насчет завтрака, Бом...
- Я спрашиваю про стихотворение.
- Э-э-э, Бом... Вначале я бы хотел выразить те свои ощущения, которые трудно описать словами.
- Как же ты их выразишь?
- Для этого, Бом, мне придется побледнеть от ужаса - вот так.
- Бим! Боже мой! Как тебе удастся так бледнеть от ужаса?
- Сам не понимаю...
- А что же насчет остальных ощущений?
- Перехожу к вербальной части. Вишневый сад... вишневый сад... - что-то до боли знакомое.
- Как и на дне. Это тяжелые школьные воспоминания, Бим.
- Но почему на дне костра, Бом? Почему сад горит? Откуда угли и воскресшие фениксы? Вишневый сад - это ад?
- Тогда получается, что другой, абрикосовый сад - это рай.
- Но между ними туннель. Как это возможно?
- Что интересно, Бим, в этом стихотворении так много пространства! Оно-то трехмерное - если ты, конечно, понимаешь, о чем я говорю, - но в то же время и не совсем трехмерное... Не бледней, пожалуйста!
- Я держу себя в руках, Бом. Продолжай.
- Мне кажется, что тут возникает четвертое измерение - там, где точка в конце стихотворения вдруг превращается в туннель.
- Это тоже что-то из школьной программы?
- Может быть. Природа света, частица и волна...
- На этот счет мне тоже трудно выразить свои ощущения словами, так что мне придется опять побледнеть от ужаса.
- Постарайся сдержаться, Бим. Сейчас не время... О! Кстати, о времени! Время... оно...



- Что с ним такое?

- Бим! Это гениально! Я могу сказать тебе то, что говорил Шерлок Холмс доктору Ватсону - ты не источник света, но прекрасный его проводник... Ну, приблизительно в таких выражениях.

- Бом, я все-таки вынужден побледнеть...

- Бледней на здоровье! Ты не представляешь, до чего я сейчас додумался благодаря тебе!

- До чего же?

- В этом стихотворении полно пространства, есть даже лишние его измерения - зато нет никакого времени. Или, по крайней мере, времени в обычном понимании.

- Как же нет?.. Не может быть, Бом, ты ошибаешься. Вот тут, смотри: фениксы, воскресшие с утра. Следовательно, утро было, и какое-то время прошло с тех пор, как они воскресли...

- Нет, Бим, нет никакого времени в том, что фениксы предстают перед нами воскресшими и даже поющими.

- Почему?

- Потому что мы видим не само это воскресение, не процесс, который начался когда-то, абстрактным утром, - а мы видим только его результат, заиклившийся и превратившийся в карикатуру, как заевшая пластинка.

- Но вот же, тут еще - гудит и замирает время Ц - и вот еще - клубится время саранчи и гнуса... Как же нет времени, когда вот оно, время!

- Это, Бим, то время, которое, опровергая все физические представления о невозможности существования времени вне пространства...

- Бом, я сейчас...

- ...все же отделяется от пространства...

- ...побледнею от ужаса!

- ...и начинает существовать самостоятельно, тем самым превращаясь... ты не забыл, Бим, что ты собирался побледнеть?... превращаясь в не-время.

- Как это, Бом?

- Вот слушай, какими глаголами описывает автор время - даже два вида времени. Существование обоих этих видов в стихотворении именно прекращается! Одно - гудит и замирает, второе - клубится. То есть, перестают быть одно - продолжающимся, второе - текущим прямолинейно.

- Мне страшно, Бом! Настолько, что даже бледнеть не хочется. Про что же здесь говорится? Что это - за пространство, где прекращается время?

- Кажется, Бим, местами время тут даже идет вспять - древние насекомые высвобождаются из янтаря... Или же оно заикливается, соединяя прошлое и будущее, чтобы потом схлопнуться, как жестянка, которую переезжает каток. Настоящий Апокалипсис.

- Ура, Бом, я нашел место, которое может спасти мою психику от шока, а твой интеллект - от перенапряжения.

- Где же это?

- Ты удивишься, Бом - но оно в конце. Вот это, когда он дует на точку и произносит детскую считалку.

- Ты имеешь в виду - апрель, апрель, гори, не тлей - и так далее?

- Да! Это же почти божья коровка, улетай на небо...

- Допустим. А он - это кто?

- Он - это автор, но не тот, который пишет, а тот, что возник внутри стихотворения, пока тот, первый, его сочинял.

- То есть, их уже двое?

- Или больше. Какая, в сущности, разница? Ведь главное - точка превращается в туннель, ведущий к абрикосовому саду!

- Что же это, по-твоему, означает?

- Не знаю, но ощущение все равно светлое. Абрикос - это совсем не вишня. Вишня алая, кислая, у нее сок, как кровь.

- Кровь? Подразумевается жертва, ты думаешь?

- Возможно и это тоже. Или кровь - как основа земной жизни.

- А абрикос - сладкий, нежный. Нектар внутри. Олимп. Небеса. И прочие райские ассоциации. Да, ты прав.

- А точка превращается в туннель - это вообще-то... Нет, мне просто необходимо немедленно побледнеть.

- Почему, Бим?

- Это туннель, о котором рассказывают пережившие клиническую смерть. Точка - смерть, но она превращается в долгий путь, туннель, выводящий к потустороннему свету - в абрикосовый сад.

- Ты заметил, Бим, что в этом стихотворении трижды упоминается - прямо или косвенно - воскресение?! Первое - это то, что ты сейчас описал, то есть точка-туннель.

- А второе и третье, Бом? Постой, я сам найду. Ах да, вот - воскресие с утра фениксы.

- Именно!

- И еще - кореш по сараю, некий... - кто? алкоголик? - который отдает Богу душу, а потом, опохмелившись, забирает ее назад.

- Кажется, я понимаю теперь, почему автор (тот, что внутри) размахивает веслом.

- И почему?

- Он находится в лодке, в той самой, в которой плыл Данте. И вишневый сад - это действительно ад, или даже, можно сказать, преддверие его - тот самый "сумрачный лес".

Вокруг угольки, пепел, все плавится и дымится.

- Зачем же он дует на эту точку, на этот уголек? Почему просит - не тлей, гори?

- Чтобы без страха преодолеть ужасы вишневого сада и через страдание в этой жизни обрести вечный абрикосовый сад.

- А знаешь, Бом, почему там калитка распахнута?

- Возможно, это была калитка, ведущая в вишневый сад. Возможно, это было приглашение - "Войди!". И он уже вошел, и калитка осталась открытой. Но она - только вход, она - не выход. Она - решение войти, после которого уже никуда нельзя вернуться.

- Что ж, Бом, тебе удалось меня поразить.

- Спасибо, Бим. Я старался. Теперь, я думаю, мы можем пойти и позавтракать. Мы это оба заслужили.

Оба уходят завтракать.

Осыпающиеся одна за другой минуты -

бремя, подаренное человеку.

Вечный сад, дразнящий пресловутым яблочком -

выше времени, вне всего, поддающегося исчислению.

Залатанный рюкзак - полный воспоминаний

о детских ошибках и юношеских порывах,

оттягивающий развязку,

но в то же время

не позволяющий подпрыгнуть и оторваться

от земного притяжения.

В этом саду, который не вырубить топором,

не пройти за всю жизнь, не заблудиться

и не потерять себя, -

ты просто один из плодов:

цветешь, потом теряешь молочные зубы,

перестаешь задавать наивные вопросы,

созреваешь, мечтая принести пользу,

и ждешь с восторгом и ужасом

последнего полета.

Уродливые карикатуры отбрасываемых теней
скользят по земле и веткам,
дышат тебе в спину.
Минуты, как листья, осыпаются - только для тебя,
чтобы тебе стало страшно,
когда ты на всем бегу
вдруг наткнешься на ограду,
которая то ли конец этого сада,
то ли начало следующего,
где тебе все припомнится и все простится,
где закончится головоломка
и начнется тайна

Сусанна АРМЕНИЯ

* * *

**“Ныне хочу рассказать про тела,
превращенные в формы
Новые. Боги, - ведь вы превращения эти
вершили, -
Дайте ж замыслу ход и мою
от начала вселенной
До наступивших времен
непрерывную песнь доведите...”
(Овидий. Метаморфозы)**

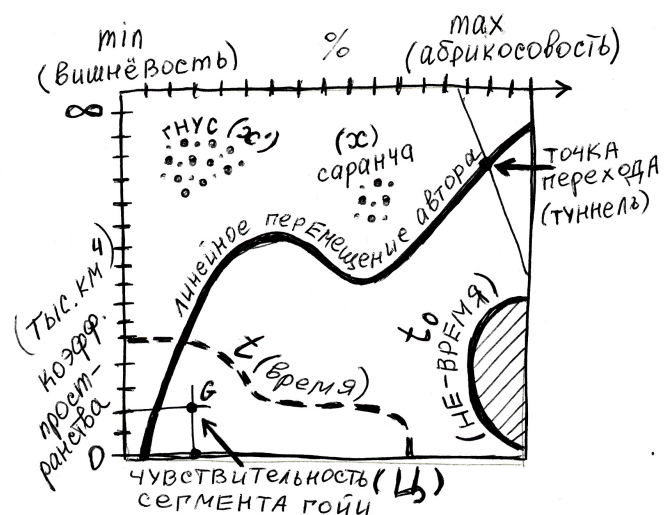
**“Метаморфоз у растений -
Выражается в видоизменениях основных
органов, происходящих в онтогенезе и
связанных со сменой выполняемых ими
функций или условий функционирова-
ния. Истинный метаморфоз - превра-
щение одного органа в другой с полной
сменой формы и функции...
Метаморфоз у животных -
В отличие от растений, у животных
при метаморфозе изменению подвер-
гается всё строение организма[...]Обыч-
но метаморфоз связан с резкой сменой
образа жизни животного в онтогенезе,
жизни, от водного - к наземному и т. д...”**

...Хожу я, значит, по дну костра - и смотрю: там наверху цветет,
светает. Встает багровое светило...
Это, скорее всего, вишни поспели. (Чехов!). Вишни поспели,
да и фениксы, как им и положено, - восстают из пепла, то есть,
метаморфозуют... "Все поют и поминают Гойю".
Неспроста, наверное, поминают. Все-таки костер.... Костер -
инквизиция... Инквизиция - Гойя - "Капричос"...

**"Капричос"- непревзойденный образец
фантастически смелого, неповторимо
острого реалистического гротеска.
[...]Это посвященные жертвам инкви-
зиции офорты, ситуации и образы
взяты из самой жизни.
[...] Восприятие жизненных противоречий
носило у Гойи характер стихийного протеста
против социальной несправедливости,
преломляясь через призму
глубоко личного, субъективного пере-**

**живания художника. [...] Офорты со-
здают сложный мир образов, в которых
реальное сплетается с фантастическим,
за аллегорической символикой уга-
дывается политическая сатира, туманное
иносказание граничит почти с карикатурой"
[...] "В серии "Заключенные", рисунки
посвящены образам борцов за свободу,
ученым и мыслителям-жертвам инкви-
зиции. Художник неизмеримо более глупо
развивает в них давно волновавшую
его тему страдающего человека-узника,
еще намеченную в упомянутых листах
серии "Капричос".**

- Ну, об этом "человеке-узнике" чуть позднее...
"...Меж пальцев - пепел, так живут в Раю". Интересно, это
признание "кореша по сараю" - или самого автора. Еще
интересно, испачканы пеплом пальцы ног или рук? Если рук -
то, значит, никто по дну костра не ходит, а просто взял горстку
пепла... Но если ног - это меняет дело.
И вот, значит, ходит этот "кореш" по дну костра, по пеплу -
и тоже метаморфозурует, как и фениксы:
... "В начале - Богу душу отдаю,
затем, опохмелившись, забираю..."
Этот отдавший богу душу и взявший ее назад "кореш по сараю"
- он как бы дворник, садовник, и (или) вообще тот, которого
забыли в запертой усадьбе хозяева и ушли (опять Чехов!).
А может, это не он совсем? Но неважно, важно - действие.
Вот взмахивает лирический герой, или "кореш" веслом -
и янтарь расплавляется. Какой янтарь - если внизу пепел?...
возможно "янтарь" опавших листьев, ведь сад, все-таки... и (или)
янтарь - "память". Высвобождая маленьких букашек,
насекомых... Почему древних? Древних, наверное, потому, что
это саранча (та самая, из Египта) и гнус - тоже неисчислимое
насекомое, правда, водится севернее. Саранча и гнус -
с которыми тоже происходит метаморфоза.
Остается открытым вопрос - откуда в саду взялось весло,
и вообще, где все действие-то происходит?..
Еще тут "....зудит и замирает Время Ц...". Время Ц... цэ...
странное это понятие. Время Ц - допустим, это Царствие (но
есть еще более устойчивое понятие Час X). Но Царствие как
бы вначале, а потом - гнус. Странно как-то.
"Распахнута калитка..." - она, видимо, для всех распахнута?
(Оставлю и этот вопрос открытым)



**“...Вот завершился мой труд,и его
ни Юпитера злоба
Не уничтожит ни меч, ни огонь,
ни алчная старость.
Пусть же тот день прилетит,
что над плотью одной возымеет
Власть, для меня завершить
неверной течение жизни.
Лучшею частью своей, вековечен,
к светилам высоким
Я вознесусь, и мое нерушимо
останется имя...”
(Овидий. Метаморфозы)**

А в конце стихотворения - точка, "точка от укуса". Укус - это боль, конечно, как всегда.

"...Подуешь на нее - апрель, апрель, гори не тлей, не призывай к распаду..."

К какому распаду может призывать апрель? К распаду чего? Что происходит в апреле? Как обычно, весной - тает снег, превращаясь в воду... и опять метаморфоза, а возможно, и к распаду "янтаря-памяти"...

А что касается другого сада - абрикосового - это, напоминает градиацию цвета, которую можно усмотреть в момент перехода последней материальной субстанции огня в чистую энергию... Если всмотреться в пламя, внизу оно багровое, темное, (вишневое), но постепенно, - чем выше, тем больше - оно как бы очищается и становится абрикосового или даже персикового цвета, а дальше бывает и голубого цвета, а затем становится вообще невидимым.

Одним словом *Катарсис* - везде, во всем, и всегда.

Первое стихотворение открывает цикл ПЕРЕЛЕТНЫЕ САДЫ, а второе - закрывает его.

Здесь уже появляются айвовые сады и образ детства.

И явно какое-то личное переживание, воспоминание, связанное с отцовским вещмешком. Провожаясь на войну, бежишь за солдатом, (может солдат - это ты в будущем?) который идет, а ты за это время в этом беге растешь и от "тяжести заплаты трещат". От тяжести земного пути.

И тут вдруг - ба-бах! - Босх. Откуда он взялся и почему стреляет из двустволки... то есть нет, из "двуствольной" кисти?

А Босх потому и явился, потому что кому как ни ему лучше знать о том, что в каждом саду есть свой ад, рай и чистилище!

"...в райском пейзаже нет-нет да и мелькнет странная колючая и пресмыкающаяся тварь, а среди мирных куц вдруг воздвигнется некое фантастическое сооружение (или растение?), и обломок скалы примет форму головы с лицемерно прикрытым глазом... Это жизнь человечества, вывернутая наизнанку".

"...Греховной сутолоке явно противостоят таинственные поэтические детали (например, изящная чета любовников, музицирующих на самом вершине пресловутого воза) и, прежде всего, чувственная красота колорита, обретающего все большую легкость..."

Двуствольная кисть Босха... Натурализм и ирреальность этого натурализма, т.е. отсутствие времени и пространства.

Почему он стреляет двуствольной кистью в голову и спину? Спина - ассоциативно воспринимается как незащищенность, неосознанность, а голова, наоборот - осмысленность. А еще,

потому что это, наверное, предательство - стрелять в спину. Ну, и конечно, "...с рождения раним, - вишневый и седой наполовину..."

Мы несем в себе и продолжаем миссию Фирса, "человека-узника", как во внешнем, так и во внутреннем его проявлении, а также человека-борца и забытого человека - его заперли, и он остался вечным сторожем в вечном саду. Получается, что ты сам себя предаешь - и сам же себя пытаешься потом реабилитировать. И постоянно вытаскиваешь себя, как Мюнхгаузен, за волосы из болота.

"...И невпопад варенье пишется..."

На баночке с вареньем обычно пишется, из чего оно сделано, - то есть, вишневое, абрикосовое, айвовое и т.д. Стихотворенье - варенье... В баночках хранится? Варенье - это память о твоей жизни. Итог твоего существования.

Яблочко - это переходный возраст, когда уже формируется человек, юноша.

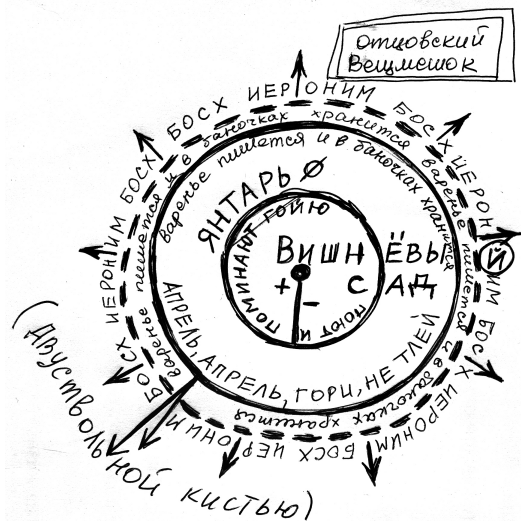
Еще - аллюзия на запретный плод, Рай... Каждое стихотворение - это варенье из запретного плода?..

Итак, в этих двух стихотворениях мы видим четыре сада. Каждый из них обладает своими временными и пространственными характеристиками. Чем ближе мы подходим к концу, уже во втором стихотворении, плоды становятся более ощутимыми и материальными. А в четвертом саду есть уже конкретный возраст, у плода появляется фактура - "...покрытые пушком, как щетки детские - полны и розоваты"... Автор возвращается в детство, которое для него сейчас более реально и осязаемо, чем настоящее. Он возвращается в свой дом...

"...В поздних произведениях Босх обращается к теме одиночества. Появляется знаменитая картина "Блудный сын".

...блудный сын, уходящий в отчий дом. Но на худом лице горят замороженные глаза - они прикованы к чему-то невидимому нами. А сзади него жизнь, покидаемая им... [...] Это та жизнь, которую ведет человек, с которой, даже покидая ее, он связан. Только природа остается чистой, бесконечной..."

Ада ДЖИЛАВДАРОВА



Использованы цитаты из статьи "Сто великих художников" Д.К.Самина с сайта <http://www.art-spb.ru>, статьи Т.Кантеревой "Искусство Испании" с сайта <http://artyx.ru> и из разных статей Википедии. "Метаморфозы" Овидия цитируются по версии с lib.ru

Я скажу это...

КНИГА - ИСТОЧНИК СВЕТА И ТЕПЛА

Говорят, 23 апреля - это международный день книги...

Как сказал однажды мой знакомый - насчет другого праздника (Дня поэзии) - "А толку?"

Как и другие праздники подобного рода (например, 8 марта) - это повод для грустных размышлений о том, чему праздник, собственно, посвящается. В данном случае можно грустно поразмышлять о хорошем отношении к книгам в разрезе самого влияющего на наши умы искусства - кино.

Такого трепетного, как у Брэдбери, отношения к печатной продукции, конечно, сегодня днем с огнем...

Взять хотя бы кинофильм "Послезавтра" (The Day After Tomorrow, режиссер - Роланд Эммерих, 2004), где студенты, запертые глобальным катаклизмом в обледеневшей Нью-Йоркской библиотеке, целыми тачками тащат в огонь уникальные издания. При этом мудро так рассуждают, что жалко жечь, а что нет. Справочники налоговые всякие мерзкие не жалко. Гуттенберговское издание библии жалко.

Это все еще ничего. Жгут, чтоб на смерть не замерзнуть. Не потому, что фашисты какие-то или там инквизиторы средневековые. Понятно: холодно же!

Рассуждают, потому что отличники, по инерции. Все-таки к олимпиадам-тестам готовились...

Кто убивает человека, убивает разумное существо, подобие Божие; тот же, кто уничтожает хорошую книгу, убивает самый разум, убивает образ Божий как бы в зародыше.

Джон Милтон

Однако, замечает не менее рассудительный и наблюдательный (хотя к олимпиадам не готовившийся) зритель, - вокруг них не просто библиотека - хранилище книг. Вокруг них помещение, где очень-очень много деревянных полок, наверняка должны быть и сто-

лы, и стулья... Два стула точно были, сиденья которых они использовали как снегоступы, когда выбрались на замерзшие и заснеженные нью-йоркские улицы в поисках лекарства для раненной девушки.

"Библиотека безгранична и периодична. Если бы вечный странник пустился в путь в каком-нибудь направлении, он смог бы убедиться по прошествии веков, что те же книги повторяются в том же беспорядке (который, будучи повторенным, становится порядком)".

Хорхе Луис Борхес

Плохо готовились к олимпиаде! Про снегоступы догадались, а про то, что стульями можно топить камин - нет. Странно?

При более целеустремленном - повторном - просмотре убеждаешься: стулья в библиотеке были. Навалом. За каждым огромным столом - штук по тридцать точно! И каждый стол

тоже был. И полки. И было все это деревянным-деревянным. Но не сожглось в печке, а покрылось красивым слоем инея. И паркет тоже остался нетронутым. Потому что книги жечь веселее и символичнее.

Почему бы умным подросткам не начать с предметов мебели, а не предавать огню память человечества? А ведь там, извините, был еще и паркет, который (личный опыт из 90-х годов!) отлично горит. Да и вообще, дерево горит дольше, чем бумага, и дает больше тепла.

Понимаю, что для большего драматизма режиссер решил начать прямо с книг.

Это объясняется, возможно, и нелюбовью режиссера (сценариста? продюсера?) к книгам вообще. Видимо, в детстве заставляли читать Достоевского в плохом переводе. Без картинок. Вместо пудинга.

Продолжить список? Пожалуйста. Подчеркну, что библиотеки подвергаются всяким разрушительным действиям вне зависимости от положительности или отрицательности персонажа.

"Мумия" (кажется, первый фильм) - хорошая (хорошенькая) девонька не удерживается на приставной лестнице и валится на книжный шкаф. Все шкафы в старинной библиотеке

по принципу домино последовательно валятся друг на друга. Книжки плачут. Книжкам больно.

"Чернильное сердце" - частная библиотека с уникальными сказочными изданиями поганится погаными пришельцами из книжного же мира (!), рвется в клочья и сжигается масштабным костерком.

"Имя розы" - пожар в монастырской библиотеке возникает из-за поисков одной запрещенной книги (пожалуй, единственный фильм, в ко-

Дом, в котором нет книги, подобен телу, лишённому души.

Цицерон

тором хоть кому-то горящих книг жалко и хоть кто-то - в данном случае персонаж Шона Коннери, монах-следователь - пытается вытащить из огня хотя бы десяток!).

"Телепорт" - спасаясь от преследования, телепортирующийся персонаж переносит себя в местную библиотеку, попутно обрушивая на книжки - вместе со своим телом - децилитры речной воды (он до этого спасался в речке). Книжки портятся, естественно.

Раньше кульминационная драка в фильме всегда происходила на каком-нибудь жутком заводе, где можно в свое удовольствие - и без особого ущерба - ломать станки, устраивать замыкание, заливать жидким металлом плохого робота.

Теперь же происходит, видимо, какое-то смещение смыслов. Библиотека, появляющаяся на экране в начале фильма, подобно знаменитому "ружью на

сцене", в финале обязательно должна быть растерзана, сожжена, расстреляна, затоплена и так далее...

Но в кино, где не жалко убитых людей, до книг уже никому нет дела.

А на дворе - минус 451...

Сусанна АРМЕНИЯН

ИЗ РУК ВОУ...

Ага ДЖИЛАВДАРОВА

Иа-Иа Е-Е

Жил был Ослик. Самым любимым занятием Ослика было бродить вечерами по улочкам родной деревни и делать круги по ее площади.

Каждый вечер выходил Ослик гулять, а за ним смиренно следовал его мудрый братец Осел. Мудрым братца Осла называли потому, что он пробовал свои силы в бизнесе и заключал различные сделки, которые всегда заканчивались провалом. С каждым провалом мудрости у братца Осла прибавлялось, как и предусмотрительности, и осторожности, и других полезных качеств.

Например, братец Осел боялся, что Ослику однажды захочется выйти за пределы деревни и побродить по полным опасностями горным тропам. Поэтому он всегда сопровождал его и при этом постоянно твердил: "Не выходи, дорогой Ослик, за пределы деревни, не ходи, пожалуйста, в горы..." Однако Ослику, несмотря на запреты мудрого братца Осла, с каждым днем все сильнее хотелось пойти в горы. Осматривать одно и то же стало неинтересно. Братец Осел все пытался его переубедить, рассказывая, как в горах страшно и опасно, но все попытки удержать Ослика оказались тщетными. Мало того, Ослик ужасно разозлился, заупрямился и от своего упрямства, как принято у осликов, долго не мог сдвинуться с места.

Наступил вечер. Упрямство наконец-то прошло, и Ослик радостно поскакал в горы. Мудрый братец Осел потрохался следом, едва поспевая за резвым Осликом. Ослик долго скакал по каменистым тропинкам, весело помахивая хвостом и ушами, оглашая окрестности возгласами ослиного счастья. Эхо гулко вторило ему в разных регистрах. Наконец Ослик устал, и ему захотелось спать. Но эхо все никак не унималось. Это показалось Ослику странным. Мало того, что эхо обладало колоратурным сопрано, так оно еще и приближалось к Ослику, цокая всеми четырьмя копытами. И, наконец, приблизилось...

"Здравствуйте, меня зовут Ишак. Я восхищен вашим тенором! Давно не слышал такого чистого голоса. Знаете, я собираю группу, позвольте представить моего друга..."

Ишак громко позвал: "Иа-Иа Е-Е". Эхо гулко отозвалось.

"Вы согласны петь вместе со мной? Я исполняю рэп, это сегодня очень модно, Иа-Иа Е-Е пишет мне отличные тексты..."

Ишак еще долго рассказывал Ослику об особенностях шоу-бизнеса... Калейдоскоп образов, фраз, состоящих из одного слэнга (причем, применяемого Ишаком часто не по назначению), новых терминов, чуть ли не осязаемых звуков, новых друзей, или вообще друзей, уже не говоря о не совсем ясной перспективе выйти на большую сцену, и самого понятия - "большая сцена", а также избытие комплиментов оказалось более чем достаточным, чтобы привести нашего героя в "странное состояние". И чем дольше говорил Ишак, тем больше Ослика охватывало это "странное состояние". Бедный, он никак не мог сосредоточиться ни на одном слове, образе, понятии и термине. Видимо, радость опьянила его, (а возможно,

это была вовсе и не радость, просто ничего из вышеперечисленного ему не было знакомо. (Но Ослик никогда не признался бы в этом.) И вконец растерявшийся Ослик стал... икать... Вначале сдержанно, затем немного напряженно, а под конец иkanie перешло... хотя нет, не перешло..., но повлекло за собой очередной приступ присущего нашему герою упрямства, от которого Ослик не только не мог сдвинуться с места, но и потерял дар речи. И так он упрямо стоял и молчал, пока не притрюхался братец Осел, очень волновавшийся за своего непослушного брата Ослика.

Мудрый братец Осел сразу вник в обстановку и предложил себя в качестве импрессарио. Первый же контракт, заключенный мудрым братцем Ослом, оказался в наивысшей степени выгодным. Группа незамедлительно выехала в Норвегию. Гастроли прошли успешно.

P.S.

Иа-Иа Е-Е присылало все новые и новые тексты по И-А hoo.com



ПРО ОБУТОГО И НЕОБУТОГО ОСЛИКА

Обутый Ослик жил в аккуратеньком домике, по утрам причесывал челку, часто стригся под сезон, носил джинсовые шляксы, настраивал гитару, подключал ее к уселку и на всю мощь врубал динамики. При этом притоптывал сразу всеми четырьмя ножками.

Электрогитара глушила окружающее пространство где-то в радиусе 10-15 километров в час, как раз на границе того места, где стоял домик Необутого Ослика.

Но Необутому Ослику все было ничем.

Звуки бешеной музыки, сногшибательной аппаратуры и динамиков в 90 V не мешали ему ежедневно заниматься степом.

Каждое утро он спускался, пританцовывая, по ступенькам, причем делал это особенным образом. Вначале приподнимал задние ножки и очень ловко сбрасывал их на нижнюю ступень, затем, оказавшись мордочкой к дверям, легко переносил свои передние ножки еще на ступеньку, получался замечательный ритм. И вообще, он мог без конца проделывать всяческие двойные тулупы и прочие па.

Особенно мелодично звенели его подковы, когда ударялись о ступеньки. Ему не нужны были усилители и динамики, и прочая навороченная аппаратура, только в такт этому ступу, естественно, подыгрывал кузнец, готовя ему свежие подковы.

И ручей тоже был - рядом с ветряной мельницей, ну, все как и полагается...

Графика и графики в номере - С.Армянян. Портрет Ослика - А.Джилавдарова.



©Периодическое издание "Ассоциации литераторов - АБТ" и лито "МОЛОТ О.К." (Тбилиси, Грузия) <http://abg-molotok.ge>
Эл.почта: abgl@yandex.ru

Издается на средства редколлегии

Редакционная коллегия:

Сусанна Армянян,
Ада Джилавдарова,
Анна Шахназарова,
Дмитрий Лоскутов,
Михаил Ляшенко.

Рукописи не горят, не возвращаются и не комментируются. При перепечатке материала ссылка на данное издание обязательна.

Число "ни" редколлегии не всегда верно в отношении крутизны публикуемых авторов.